

РОИ

литературный альманах



РОЙ

Независимый альманах
современной литературы



Научно-издательский центр «Социосфера»



Пенза
2021

УДК 82-18

ББК 84

Р 65

Рой: литературный альманах / сост. М. Герасимова, А. Мартышина, В. Дорошина, А. Коржавина, А. Шумилин. — № 1. — Пенза : Научно-издательский центр «Социосфера», 2021. — 207 с. ISBN 978-5-91990-149-5

Редакция: almanah.roj@gmail.com

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакционный совет:

Марина Герасимова

Анна Мартышина

Вера Дорошина

Анна Коржавина

Антон Шумилин

Дизайн и вёрстка:

Анна Рябова

ISBN 978-5-91990-149-5

© Научно-издательский центр «Социосфера», 2021.

© Редакция журнала «Рой», 2021.

© Рябова А., 2021.

Предисловие редактора

Альманах «Рой» — пространство пересечения различных пластов современной прозы и поэзии. Мы роём — и плодородный чернозём, горящие торфяники, сыпучий песок и податливая глина вдруг оседают на белизне листа. И в шелестящем воздухе страниц роятся авторские миры: причудливые, полные тончайших деталей или подчёркнуто скупые, пастельно-нежные или брутальные, или же пропитанные сарказмом... Что их объединяет? Выбор редакции основан на предпочтении живого, ранимого или ранящего, пусть порой и несовершенного слова слову искусственному, подделке под «всамделишность».

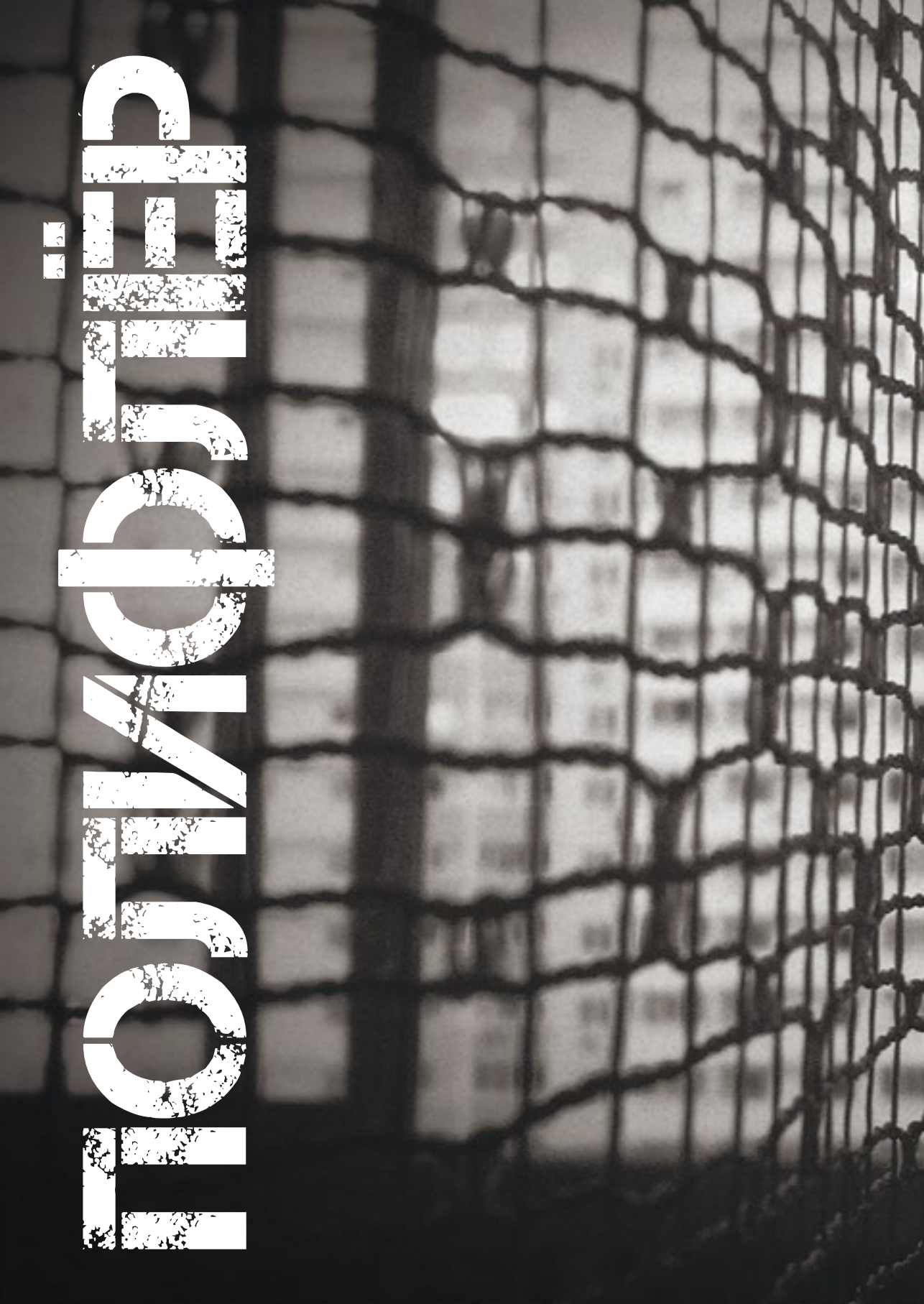
«Рой» не принадлежит ни к каким партийным спискам, ни от литературы, ни от политики. Не желая «принять сторону» и придерживаться жёстких идеологических позиций, редакция остаётся открытой веяниям времени и оставляет за собой право публиковать произведения разной идейно-художественной направленности, не обязательно полностью разделяя взгляды авторов.

Специфическая особенность нашего альманаха — преобладание пензенских авторов. Мы не отказываемся от прописки по месту жительства, стремясь к отражению (безусловно, субъективному) местной литературной среды. Однако понимание замкнутости провинциального литературного пространства на самом себе стало одним из мотивов, побудивших нас на создание данного альманаха. Вот почему «Рой» — интеграционный проект, ломающий ложный стереотип, что возможно существование некой самобытной поэзии или прозы города N вне общелитературного контекста.

Стартовав от точки зеро (выпуск № 0) в 2020 году, мы продолжили свою деятельность старателей и намыли для вас ещё немного крупниц прозы, а в качестве пчёл — собрали горчащего мёда поэзии и предлагаем вашему вниманию «Рой» № 1.

Вера Дорошина

THE FISH CORN MILK





ВИКТОРИЯ СЫСОЕВА

Наивная детская география

Наивная детская география:

место,

где впервые увидел падающую звезду,

место,

где впервые увидел падающего отца,

место,

где впервые оступился и упал ты сам.

Дома охнули и наложили мазь Вишневского,
туго забинтовали, подули, зацеловали и отправили спать.

Шрамик остался,

бледный такой островок на коленке.

Ты его трогаешь и вспоминаешь то место,

мимо него проходишь и кличешь своих спасителей—

пусть придут, обнимут и забинтуют всю тебя с головы до ног,
чтоб никто, поглядев, не понимал, в чём подвох.

А ты покажешь им то место на самодельной карте —

вот здесь мы играли в казаки-разбойники,

разбивали до крови конечности, прятались в арке.

Курили в арке, винднём давились.

На руки, шеи и плечи дробились

хрупкие наши тельца.

Нам никогда не стать уже целыми.

Потому что никто не зовёт нас домой.

Мы будем играть без конца.



Даже когда обледенеют кончики пальцев, а в арке стемнеет,
и железным чудищем на площадке застынут старенькие качели.
Мы сядем на выцветшие указатели на асфальте, на буквы «Р» и «К».
Будем ждать, когда нас разведут по домам. И никогда не дожждёмся.

А из окон хрущёвок будто бы слышно:
«Бедные-бедные дети. Ничего-то из вас не вышло».

Минску

Эта площча пусть запомнит меня такой —
безымянной точкой на каменном теле сталіцы,
бумажной куклой в руках белорусской девочки,
огоньком из горящей надписи «Подвиг народа бессмертен».

Эта вуліца пусть отдаст мне легенды свои и песни,
завернёт и спрячет в рукав пальто, мол — не потеряй.
Пой мне, Минск, убаюкивай лошицкими небылицами,
а буди голосами детей,
навсегда уснувших в душных объятиях Нямиги.
Пятью десятками голосов —
молодых и беспечных,
беспечных и молодых,
не доживших дня до нового лета,
не имевших сил на голос,
на слово...
самое даже короткое слово.

У Нямиги есть и слова, и силы, но она молчит.
А я не умею петь о таком. Вместо куплета — вот —
сухая сводка из новостей. Что-то вроде:
«Эффект толпы, закрытые двери, метро и давка».
Песнь о Живом человеческом месиве
не может быть ни красивой, ни трогательной.
Поэтому здесь нет эпитетов, нет метафор и быть не может.
Май, 1999, «53 рубцы на сэрцы Беларусі». 54 теперь — мой.

свою первую любовь,
дневник за девятый класс,
учебник истории,
который
ты так и не вернула в библиотеку,
валентинку от одноклассника
с двумя
тщательно заштрихованными ошибками
в твоей фамилии,
двухрублёвый билетик автобусный,
гнилой каштановый плод.

отдай всё это своему ребёнку,
наблюдай, с каким усердием
он будет рвать страницы
твоего личного дневника
и обложку — школьного,
старательно складывая
обрывки того и другого
воедино.

отдай всё это ему

на растерзание,
на дробление.

это такое особое удовольствие —
смотреть как главная твоя часть
разрушает второстепенные.

Вечная смена

Заккрытие смены. Смена белья. Отъезд.
Сторож закроет ворота, запасный выход
и даже дыру в заборе.
Никто не сможет вернуться.
Так что оставайся здесь —
с приколотой на груди вожатской картонкой,
вечно под мушкой,

с круглыми от жары глазами насадкой,
бегущей к морю.

Оставайся.

И тебя не тронут.

И тебя не вырвут из контекста.

Так и будешь в крайней беззубой беседке
лепить себе пионеров из камней и песочного теста,
обжигать их на солнце,
потом — водить строем в столовую,
в душ или в игровую.

В тихий час они будут примерными —
не то что прежние — живые и настоящие.

С ними вообще тебе будет легко.

Только что-то придётся врать домашним:

«Я вернусь, я вернусь», — писать жирными буквами,
с убедительным прорезывающим нажимом,
заливая тетрадный лист порошковым кизилом,
ожным потом, шашлычным жиром.

И вся эта пятнистая роспись выдаст тебя.

Никаких больше писем.

Только вечная смена, только вечная радость небытия.

Янагихара

Я оставлю историю о тебе
рядом с недочитанной «Маленькой жизнью» Янагихары.

Это будет алтарь моей боли.

Однажды её опишут в МКБ-10:

«вязкий в горле ком; разрывающая на части нежность;
пульсирующая венка...»

Настоящие воспоминания смешиваются с придуманными,
которые не успели случиться.

Вот например: ты мне даришь тюльпаны
в холодном ноябрьском сквере,

я несу их бутонами вниз, как учила мама

...

Мы сидим в кафе и пьём облепиховый чай
из одной на двоих чашки.

Ты рассказываешь историю своей татуировки
и путаешь Ремарка с Хемингуэем

...

Я рисую песком у тебя на рёбрах,
ты смеёшься и пытаешься ухватить меня за запястье.

Это наше первое общее лето (которого никогда не будет)

...

Мы идём среди ночи по мокрым дворам в Ашан за лимоном и мятой.

Или вот ещё: полная темнота, ты целуешь меня в коленку — там,
где маленький детский шрам

...

Утром я завтракаю в твоей майке, напевая дурацкий мотив
из какого-то старого мультя.

Венка уже пульсирует, и так сладко тошнит от нежности (запиваю мятой)

...

Лежим на продавленной стороне дивана. Считаю твои родинки.
Ты обнимаешь так, что я чувствую, как набухает в горле тот самый ком

...

Я знала сразу — что-то случится.

Так нелепо, что кульминация твоего счастья совпадает
с кульминацией моей боли.

Преступно сжимаю твою тонкую спину.

Хотя больше не имею на это права.

Я оставлю историю о тебе рядом с недочитанной книжкой Янагихары
(знал бы ты, как это символично).



АНТОН

ЦУМИЛИН

плитка облаков — кукольная укладка,
застенчивой кроны паров купол.
с него протекает тайнописью, украдкой,
из пупа неба в нутро земляного пупа

космическая каузальность, субатомная казуальность.
и смотришь — грибы полезли,
и черви на них позарились,
и жизни блестит болезненное лезвие.

для быстрого рассекновения,
расчленения на пустое, порожнее и комок творожный.
остаточное благоговение
разгоняет пружину в коже.

и пружина выправляется пилой-экспонентой,
или это лишь кажется, изнутри глядя.
сгрызть её кровавые заусенцы — это
не хватит никаких зубок, дядя.

перепутавшее верх с низом гестапо держится ради
ещё минуты на взлёте, фальшивом взлёте.
или это лишь кажется, снаружи глядя...
но все вы умрёте,
все вы умрёте.

Распухший слоноподобным зерном,
 Растягивает марлю сознания
 Уродливый образ,
 Красный стоглавый росток
 Прорывается наружу, смотрит по сторонам
 Набухшими фиолетовыми шишками,
 Заглядывает в списки исторической необходимости,
 В братско-сестринские костлявые ямы,
 В дырки зубов ритуального каннибализма,
 В сочные раны, зашитые червями ошибок,
 В презервативы не по размеру
 Для регулярных сделок с публичной совестью.
 И понимает, что не такой уж он
 И уродливый.

Лист фигов

Состояния этого листа находятся в суперпозиции.
 И зелёный, и белый, и живой, и мёртвый,
 и скрывает, и раскрывает. Одним словом — фигов.
 Царапаю на нём слова, распарывая швы капилляров,
 пытаюсь распаковать сакральное.
 Впускаю его, чёрное по капле, как засвет на плёнку,
 на белое поле листа — пущай погуляет.
 Сорвать или вырвать? Сорвать или вырвать?
 Всё больше чёрного на белом, а я думаю — недостаточно,
 и сливаю кровь в больших, намного больших количествах.
 Лист вянет, но наливается чернотой,
 готов отвалиться и отяжелел, как свинцовая пластина,
 закрывающая важные органы духа от радиации усреднённого.
 Вот и слова уже не разобрать —
 закономерное исчезновение смысла при злоупотреблении оным.
 Зато теперь точно(?) сползает, открывая твои розовые страницы,
 и улетает в окно записанным дочерна письмом к неопределённости.

Скользкая бледная глина дождём посыпана,
 И ноги на ней расползаются в разные стороны,
 И руки на ней машинально лепят прекрасное.
 И пар поднимается лесом, прозрачность зыбкая,
 Пречёрная гусеница яму жрёт — похороны.
 И много чего ещё происходит разного.

Из мутной молочности солнце выходит, кланяется,
 Трясу волосами и тоже в ответ кланяюсь,
 Косясь на собаку, свернувшую хвост в крест,
 Косясь на лужи, клепающие клоны лица,
 Шлёпая боком, как медленный пьяный гусь,
 И зная: пречёрная гусеница всех поест.

Жизнь коробка

Жил коробок.
 Без рук и без ног.
 Ноптей, соответственно, не грыз.
 Спичек — не берёг.
 Из боков давал высекать искр.
 В братской могиле своих нутрей
 лежал, серой благоухая.
 Становился пустей, мягче, мудрей —
 жизнь коробка такая.

Кругом веселье и фуршет,
 и тамада рисует вилкой
 кого-то в воздухе, лучами
 под ним расходятся столы.
 И где-то слева полыхает
 солёный помидор лица —
 надтреснул. Или показалось.
 И где-то справа над селёдкой

нависло мегадекольте,
в лучах приветливо качаясь.
И дева, по стене разлившись
двумерной статикой, блестит,
как будто краска запотела
от лицезрения танцпола,
где в духе полной деконструкции
перемешались части тел
с червями радостных движений.
Расходятся круги теней,
как будто капнули в ничто
коктейлем водки и салата.
Всё веселей и веселей
вокруг становится, за плечи
друг друга трогают, кричат,
кивают так, как будто слышат.
Глядишь в разъехавшийся фокус,
а на стене не дева — утка
с огромным глазом осьминога,
а за помятым тамадой
стена дрожит и, отслоившись,
чуть-чуть показывает нечто.
Слова, пузатые слова,
вплетённые в казармы музык,
неповоротливо повторны,
до исступления тупы
и от того — ещё прекрасней.
Патриций в сказочных одеждах
(насколько это можно видеть),
гнусаво хрюкнув в микрофон,
гетеру дёрнул за бретельку.
А на стене не дева — лодка,
конец которой исчезает
в тумане ломаных кривых.
Веселье всё плотней и гуще,

и звук сливается в гуденье,
за тамадой стена отходит,
а на другой — уже не дева,
не утка, и не лодка даже,
а что-то пахнущее глиной
(стрекочет рваными щелчками,
шестое чувство — в пополаме).
Пойду попробую на ощупь...

Лопнешь — и не было,
ни зёрен, ни плевел.
Ник Лэнд замещает Эволу...
Covid-19 — эболу...
Замечаю — смеркается,
высмаркивается красавица
упадка. На пьедестанцию —
взобрался, отъехал в панцирь.
Нависла чумная врачиха,
брызжет рикошетом чиха,
ударения переворачивает,
нарастает фибоначчиево,
оттягивает голову.
Полу-зверь, полу-вещь, полу-...
Ник Лэнд замещает Эволу...
Covid-19 — эболу...

Заело.
Нами заело Оно.
И скоро мы будем — давно.
И что б Оно ни заело —
будет давном и оно.

Набухли пролежни дороги,
И надрываются сверчки.
Их подзывные полилоги
Летят, как свечки на очки.

И в сладкоглазой круговерти
Подлунно-лотерейных драм
Сидит, как марка на конверте,
Печаль, облизанная нам.

Моргает проволока, раздвоенная, расстроенная, змеиная,
Набухшие железы неба придавливают — духота,
Порывы плотного ветра играют с калино-малиной —
Картина на что-то похожа, но всё же немного не та.

Бетонный забор сияет, как манная каша, на фоне
Отсвеченных солнцем чёрных, кудряво-мудрёных громад,
И колокольни будильник замедленно вдаль трезвонит,
Да бульдозерист красноглазый заглатывает лимонад.

И смотрит в забор-учебник наивной вульгарно-сакральной
Художественной анатомии (возможно, и сам рисовал).
Сыграй нам, гроза, сыграй нам, гроза, сыграй нам
На инструменте, который съедает любые слова.

По улицам хлынет ливень, холодный, длинно-слоёный,
Омоет мозоли сонной истоптанной силы смотреть.
Нога и поток сойдутся — логично, как лингам и йони.
Как мы от земли свободны и от воды — на треть.

Сперва живые, а после — мёртвые,
льются по улицам и сливаются,
как богомол, со средой обитания.
Здания трескаются, как яйца,

светила закатывают глазищи.

Акушеры нового мира положили на всё с прибором,
разбазарили инструменты, эмигрировали вовнутрь.

Смотришь — руки твои в морщинах, губа треснула,
да и по всем каналам что-то трещит.

Тяпальщики и ляпальщики ставят скобы на землю.

Но она разверзается во всех остальных местах.

Запах малинового клопа стоит колом, летают крестики и щетинки —
ширится мезенская роспись.

«Все русские любят водку», — сказал русский, любящий водку.

«Все женщины глупые», — сказала глупая женщина.

«Мужик должен есть мясо», — добавил мужик, любящий есть мясо.

«Ничего не изменить!» — закричал тот,
кто и не собирался ничего менять.

«Такова природа человека», — вздохнул человек
и выкрутил лампочку в подъезде.

«Не для того моя роза цвела», — грустит обобщение.

Придавлен перилами, бетон по периметру,

в три короба горбатое горло,

один глаз у страха размером с планету,

второй — в кожаные перины зажмурен.

Снег любого жука в себя примет,

сжует с солью, без соли, соло и хором.

Был жук и нету, и нету, и нету.

У сугроба прохожий висит, дежурит,

как буква страшного алфавита,

пальцами щупает пузырь интернета,

гладит по его влажной оболочке,

трогает за светящиеся ложноножки.

За гаражами к забору неведомое прибито,

в три короба, висит с лета,

корчится, кровавое, молочное,
разбрасывает коллажи и ножики.

Отдельные буквы глядят из окон
на красные вихри полигона небесного,
исчез у сугроба дежурный прохожий,
гаргульи подъездов замерли в трансе,
жизнь из каждой тени выходит боком,
ей бессмысленно, грустно и тесно.
Зажмуренный глаз страха дрожит кожей,
таится, как деньги в матрасе.

Отдельные буквы в слова не сближаются,
только накладываются друг на друга,
подражают, стираются и усыхают,
выдавливая смысла маслянистые хрипы.
Выпестованный идол Сравнения даёт жару,
словно сама оскаленная Кали-юга.
В каждой голубой тени — печать его хари,
в каждом живом органе — его полипы.

Придавлен перилами, бетон по периметру,
вмёрзло всё в паралич сонный.
Снег любого жука в себя примет,
сжуёт соло, хором, без соли, с солью.



ВЕРА

ДОРОШИНА

Алиса

Таишься в складках глубинной тени
в попытках нащупать имя,
но там только пыльные местоимения,
оставленные другими,

выходишь из сумрака, мхов портьеры,
сломал алгоритм узора,
на чёрно-белый перрон Люмьеров,
розой в лапу Азора

падаешь, падаешь сквозь века
в бездонный пустой колодец
и видишь, как собственная рука
тасует эту колоду,

и каждый причудливый новый мир
ссыпается горсткой пепла
под кожу — в пульсацию чёрных дыр
чьего — неизвестно — тела.

Неторопливо проходим лесом,
глухим туманом, седыми мхами,
штрих-коды считывая со срезов
древесных в дышащем ветром храме,

в котором нас разберут на части,
смешают с птичьими голосами.
Холодный бег муравьиных лапок
сорвёт печати и станет нами.

Отбросив время, считай, что бродим
в своём волшебном и страшном теле.
Срывай рябины тугие гроздья —
меня, себя ли — на самом деле.

На самом деле, на запредельном,
не мы проходим лесною чащей —
берёзы, липы, дубы да ели
проходят нами в тоске звенящей.

Белое. Красное. Чёрное.

Белые бусины по полу, мама, —
нитка оборвалась.

Мне собирать их потом годами,
но, мама, куда их класть —

хрупкие шарики воспоминаний —
где их, скажи, хранить?

Знаешь, протёрлись до дыр карманы,
знаешь, истлела нить.

В сумрак зелёный роняет вишни
брошенный нами сад.

Мама, бурьян шелестит, ты слышишь:
«Никто не придёт назад».

Азбука сыплется в руки, мама,
из старого букваря,
из того, в котором ты мыла раму
тысячу лет подряд.

Наподобие подкованной той блохи,
скачи впотьмах, вне добра и зла,
танцуй, дружок, от своей сохи
по углям от угла до угла
чёрного своего квадрата
по периметру пепелища
родимого зиккурата.
Да и обрящет ли тот, кто ищет?
Вот и люби только то, что есть,
безнадёжно и безответно.
Поцелуями отполируй свой крест...

В узкой полоске скупого света
бьётся, слабея, благая весть.

В солнечном вяжущем янтаре
всё кончается, не успев начаться,
лишь качели в пустом дворе
продолжают качаться
и летит стрела
медленней черепахи,
мельчает счастье,
смотри — уже по колено
этот подиум, эта плаха,
это платье
перешитое — перемены
пускают корни в глазницы:
«Улыбнитесь, вас снимает
скрытая газовая
камера-шкуродёрка,
вас обнимает сторукий Шива,
колышет шторку,
вы — элемент узора
в солнечном вяжущем янтаре».

Как бы нам предоставлен выбор —
иллюзорное либо-либо:
жизнь займы или смерть в кредит.
Проколовший глаза Эдип
подтвердит, что все двери — стены,
что все волны пребудут пеной,
что судьбы и системы лик —
обернувшийся в шёпот крик
и что проклята эта пристань,
где тебя поджидает пристав —
ты пойдёшь ему объясни
свои страхи, мечты и сны.
Улыбнётся кровавый Молох —
этой кровью подмочен порох
всех несбыточных революций.
Научите меня проснуться.

Дно болота

Вышел на станции «Дно болота»,
выдохнул: здравствуй, Сыра Земля,
мамка ли, мачеха ль,
ржавчину позолотой
я пришёл покрывать,
воспевать безликие эти красоты,
я пришёл, так бери скорей меня
с потрохами,
вбирай своими порами
и парами, втягивай
субатомными пространствами.
Как всякий порядочный кулик,
застрявший между трассой и трансом,
я пою в твою пустоту,
мол, нет тебя прекрасней,
ибо всякий камушек под ногами
чудотворен,
аминь.

Кальций

Прийти на работу первым,
ломая безликий ландшафт офиса,
грезящего своими лангольерами.
В мёртвом экранном свете
всполохами — белое, чистое.
В формат А4 втиснуты будни.
И со стен осыпается кальций,
изнутри, снаружи,
с металлическим шелестом.
Сухая костная мука
перемолотых в прах богов.
За окном скелет города
размягчается, теряет контуры,
мосты висят без опор,
по колено увязшие во вчерашнем.
И не гадай мне на этой гуще —
я знаю и так —
после нас остаётся кальций,
окаменевшее, обызвествлённое сердце,
одно на всех,
меловые отложения,
промытые морем,
скинутые панцири, глухая броня —
новые прибежища для новых простейших.

Не повесишь, дружок, на стене в «Фейсбуке»
эти звуки, текущие эти звуки,
поездов протяжную перекличку
не прикрепिшь к посту и не бросишь в личку.
Между личным и лишним застрянут строчки
на стене в «Фейсбуке», такой непрочной.
Эти капли, текущие эти речки
по щекам — как удары холодной речи.
Положи под язык этот день осенний,
как облатку сомнительного спасенья.

АЛЕКСЕЙ

ИГОШИН

Из книги «Тумбочка с лекарствами» Деда Паня

Летними вечерами во дворе у бабушки и дедушки пенсионеры любили играть в лото. Приходили и старички, и старушки, каждый со своей табуреткой. Садились вокруг шаткого деревянного стола, раскладывали карточки. Цифры закрывали кругляшками, вырезанными из картонных упаковок чая и сахара-рафинада.

Играли на деньги. Ставили жёлтую мелочь — копеек по пять с игрока. На кону получалась большая, по моим меркам, сумма — пятьдесят, а то и семьдесят копеек.

Ведущей назначали самую горластую пенсионерку. Она выживала из хлопчатобумажного мешочка деревянные бочонки, увесистые, потёртые за долгие годы, звонко выкрикивала:

— Семьдесят семь! — две кочерги. Восемнадцать... лет девчонке, а мальчишке... А сколько лет у нас мальчишке? — нагнетала интригу ведущая, шаря в уголках мешочка. — Ну-ка... семьдесят пять! Староват мальчишка-то! Седой уже! — заливалась старушка.

— Есть такое, — подавал сильный голос деда Паня, закрывая цифру кругляшком. Он грустно улыбался. На длинной шее под сухой морщинистой кожей приходили в движение тонкие жилы. Казалось, его голова крепилась к туловищу бельевыми верёвками.

Вообще-то, по паспорту он был Павел, Паша. Но во дворе его звали Паня. Жил деда Паня, как и бабуся, на первом этаже, только в соседнем подъезде. Жены у него не было — умерла. Кажется, от сахарного диабета.

Была у деды Пани чёрная болонка, такая старая, что шерсть у неё на кончиках стала белёсой.

Деда Паня развлекал старушек. Перед программой «Время» выходил к подъезду с детской гармошкой. Играл простенькую мелодию. Собачка, задрав седую бородку, подвывала. Старушки смеялись, обнажая чёрные прогалы между зубами. Я вздрагивал. Мне чудилось, что старая болонка почти почеловечьи воет: «Тошно жи-и-ить! Тошно жи-и-ить!»

В перерывах между музыкальными номерами деда Паня прикладывал платок к слезящимся глазам, курил «Беломор», кашлял.

В ненастную погоду деда Паня надевал кепку, от чего становился похожим на гриб. Такие встречаются в заболоченных лесах — с большой шляпкой на тонкой дистрофической ножке.

Про деду Паню говорили: «Он в завязке». На поминках деда Паня выделялся. В столовой возле умывальника родственница покойного подавала полотенце. Все вытирали руки, садились за длинный стол. Спешили занять места поближе к колбасной нарезке. Деда Паня не торопился. Деликатно отказывался от предложенного полотенца. Отвечал:

— Я со своим.

И комкал в руках носовой платок.

За столом ему наливали водку, но деда Паня и здесь тактично уклонялся. Говорил:

— Простите великодушно.

— Может, вина? — наседали родственники покойного, хватаясь за смородиновую настойку. — Предпочитаете?

— Предпочитаю лосьон «Огуречный», — спокойным голосом отвечал деда Паня, и все на мгновение умолкали, будто устыдившись.

Деда Паня не всегда был тихим и грустным. Каждый год в апреле, когда начиналось половодье, он веселел. Звонил в дверь, что-то рассказывал и как бы между прочим интересовался:

— Вера Федрна, у вас вроде как парфюмерия наличествовала... мужская.

Бабуся всё понимала. Выносила ему одеколон с портретом строгого мужчины на этикетке, рифмовала на ходу:

По сусекам поскребла,

Пане «Сашеньку» нашла.

— Подразвязал я, — со светлой грустью сообщал деда Паня, нежно поглаживая «Сашу».

Как-то, как раз в апреле, деда Паня пошёл в гастроном и в очереди за «Русским лесом» потерял ключи. Он долго стоял под окном своей квартиры, разговаривал через форточку с болонкой. Она скулила в ответ. Деда Паня отпил из флакончика, понюхал пробку. Снял пиджак, аккуратно сложил на лавочке. На звон разбитого стекла сбежались соседи. А деда Паня уже залез к себе, благо первый этаж. Мы потом ходили смотреть на кровь и кусочки кожи, засохшие на сколах. К человечине слетались первые весенние мухи.

Деда Паня ходил с перебинтованной рукой. Дыру в стекле он заткнул серой подушкой. После того, как ему сняли повязку, заколотил окно листом фанеры.

Во дворе деда Паня служил своего рода барометром природы. Как только он развязывал, старушки приободрялись:

— Слава Богу! До весны дожили.

Завязывал деда Паня, когда талая вода испарялась и почва подсыхала под весенним солнцем. Это тоже было знаком.

— Скоро картошечку сажать! — воодушевлялись пенсионеры покрепче, у кого за городом были садово-огородные участки.

С бабушкой у нас было одно развлечение. Мы ходили смотреть на вырезатель возле магазина «Стрела». Перед одноэтажным кирпичным зданием с зарешеченными окнами стоял стенд — доска позора. На ней сверху крупными округлыми буквами было выведено «Пьянству — бой!» А ниже картинка — смешной мужичок с сигаретой во рту нежно приобнял зелёную бутылку. Под оргстеклом был листок с машинописным текстом. Бабуся цепляла на нос очки и весёлым голосом зачитывала фамилии местных жителей, чаще всего попадавших в вырезатель за последний месяц. Пока деда Паня был в силе, его фамилия оказывалась в списке почти ежемесячно. Я испытывал гордость — живу в одном доме со знаменитостью.

Физкультурник дядя Боря из бабушкиного подъезда тоже висел на доске. Его портрет полгода не сходил с доски почёта Железнодорожного района. У всех ударников труда были одинаковые скучные лица, даже волосы зачёсаны на одну сторону. Никто ими не восхищался. Люди не собирались

перед доской почёта, чтобы прочесть фамилии и посмеяться от души. То ли дело — доска позора. Первого числа каждого месяца возле свежего листка с фамилиями алкашей было не протолкнуться. Многие бабушки, как и моя, тоже приходили с внуками. У всех было приподнятое настроение. Всем не терпелось узнать: нет ли в списке соседей и знакомых — будет потом, что обсудить на лавочке.

И в трезвости, и в развязке деда Паня не забывал кормить свою болонку. В день, когда собака умерла, — это было летом — он, как обычно, вышел к подъезду с детской гармошкой. Заиграл «Вологду» и вдруг резко оборвал мелодию, замер, прислушиваясь. Никто не подвывал в ответ. Деда Паня огляделся по сторонам, сглотнул комок и ушёл к себе.

Больше он не выходил играть в лото. Перестал замечать соседей, молча проходил мимо, не реагируя на приветствия.

Я догадался: это была не собака. Это деда Паня кричал через свою болонку, кричал этому миру «тошно жить». И когда собаки не стало, он лишил-

ся голоса. Деда Паня больше не мог рассказать этому миру о своей боли. И боль разорвала его изнутри.

— Прободная язва желудка, внутреннее кровотечение, — пересказывали старушки заключение о смерти.

Я пошёл посмотреть — как там собачка. Под корявой сливой в заброшенном саду успела вымахать крапива. В последнее время деда Паня приходил сюда поговорить с болонкой — здесь он её зарыл. Я осторожно дотронулся до ствола и тут же отдернул руку. Палец попал во что-то мягкое и липкое. На стволе подсыхали капли смолы.

Рыбный день

На случай Третьей мировой войны у дедушки был собран неприкосновенный запас. В выдвижных ящиках серванта стояли, плотно прижатые друг к другу, квадратные пачки индийского чая. Левое нижнее отделение было забито мешочками с крупой, макаронами и сахаром. В правом нижнем отделении дожидались ядерной зимы банки с тушёнкой, сгущёнкой и рыбные консервы.

Когда срок годности подходил к концу, а война с агрессивным блоком НАТО всё не начиналась, дедуся торжественно выносил НЗ на кухню:

— Сайра с добавлением масла. О-от таково.

Доставал из шкафа консервный нож и полностью срезал крышку из толстой жести, восхищаясь:

— Металла не жалеют.

Запасы были и на кухне. Ветхий кухонный шкаф держался вертикально благодаря НЗ, утяжеляющему нижнюю часть. Здесь дедушка складировал соль и соду — обязательно украинского производства. На верхней полке, чтобы я не дотянулся, лежали спички — рядами в несколько слоёв.

Место утраченных запасов занимали новые, купленные с пенсии. Мне нравилось участвовать в пополнении НЗ рыбных консервов. Деда брал меня с собой в магазин «Стрела». Там в витринах продавщицы выкладывали из консервов красивые пирамидки.

Рыба была мне по душе в любом состоянии. Другие дети кривились в рыбные дни. А я, когда лежал в больнице, ждал четверга как праздника.

В этот день давали жареный минтай с отварной картошкой.

Деда знал, что вызывает у меня аппетит. Помимо консервов искал в магазинах мороженую рыбу. Рассматривая под стеклом мумифицированную копчёную ставриду, огорчался — есть такое было невозможно.

Однажды дедушке повезло. Он пришёл домой запыхавшийся и довольный. В авоське у него была глыба льда, из которой торчали острые рыбки мордочки.

— Новинку завезли, — радовался деда. — Как уж её... Забыл. О-от старость.

Деда смотрел на выпученные рыбки глазки, будто надеясь, что они подскажут.

— Имя у неё такое... еврейское. Мойша... Мойра...

— Мойва! — догадалась бабушка. — Зинаида Петровна брала, говорит, мелкая да жирная.

Лёд оттаивал, рыбы оставалось не так уж много. Но Зинаида Петровна не обманула — рыбёшка понравилась. Я представлял себе, как её добывают. Идёт атомный ледокол «Ленин», озарённый полярным сиянием, точь-в-точь как у меня на почтовой марке, режет аркти-

ческий лёд с вмёрзшей в него рыбой. Советские полярники во главе с дрейфующим Папаниным укладывают глыбы в ящики и на санях, запряжённых собаками, везут к нам, в магазин «Стрела».

Бабушка, приглашая к столу, декламировала:

Серебристый хек женился,

Простипому в жены взял.

У них детки народились,

Брежнев мойвочкой назвал.

На слове «простипома» бабушка запинаясь, и глаза её блестя озорством.

Я так и видел эту картину. В политбюро рыбный день. Леонид Ильич сидит за столом. Ему приносят мелкую варёную рыбёшку — в хрустальной вазочке, конечно, а не в железной миске, как у нас, — всё-таки он четырежды герой Советского Союза. Леонид Ильич шевелит кустистыми бровями, приступает к рыбке с ножом и вилкой, а не сразу руками, как мы. Все члены политбюро смотрят на него в напряжённом ожидании. Брежнев, откашлявшись, говорит: «Запишите, товарищи. Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии

Советского Союза постановил присвоить данной рыбе наименование «мойва».

— Это потому, что жена у него еврейка, — врывается бабушка в мою трансляцию внеочередного пленума ЦК.

— Кто еврейка? — интересуется дедушка.

— Виктория Петровна. Брежнева. Зинаида Петровна видела её в молодости, говорит, типичная, — чернявая, глаза навывкате.

— Евреи, они щуку любят, — переводит дедушка разговор на рыбную тему. Он считал, что, если за обедом вести беседу о еде, это разогреет мой аппетит. — Возьмут, шкуру снимут, из рыбного мяса котлет навертят, потом обратно в шкуру зашивают. «Рыба фиш» называется. Парторг Натанзон у нас в части служил. Как увидит — щучка! — и у самого слюни текут, свисают аж до пола. О-от таково! Против... — дедуся осёкся, вспомнив, что мы за столом. — Приятно смотреть!

Натанзон и дедушка обменивались открытками к праздникам. Поздравляли друг друга с Новым годом, 9 Мая и Октябрьской революцией.

— Опять по-простому написал, — ворчал дедушка, откла-

дывая открытку с крейсером «Аврора». — Я-то ему в стихах. Собственного сочинения. А он по-простому. «Дорогой Иван Иванович и Вера Фёдоровна, поздравляю вас...» Кто так пишет? Без души. Я ему от как:

Дорогой наш Натанзон,
Это правда, а не сон,
Жизнь прожили мы не зря.
С днём 7 ноября!

Летом в деревне отец взял меня на ловлю щук.

— Бредешком по болотам пройдемся. Ушицы щучьей наварим, — обещал дядя Ваня, брат отца.

Мужики доехали на велосипедах до заболоченной поймы Мокши. Разделись. Как футболисты времён дедушкиной молодости, остались в чёрных трусах до колен. Растянули бредень от края до края — и в болото. Словно через марлю, процедили мутную воду. На суше дядя Ваня выпутывал щук из сети. Рыба билась, дядя Ваня машинально ломал ей позвоночник в основании головы. В ушах стоял неприятный хруст. Я боязливо ощупывал свою шею.

С похода по болотам мужики принесли с десятков вёдер, наполненных горбатыми щука-

ми. Кто-то прикатил огромный котёл — я бы им накрылся полнотью. В нём сварили уху — на всех участников рыбалки. Горячую разлили по глубоким мискам. Шумно втягивали густой бульон, пили водку. Мужики обходились без ложек. Лишь я отрывался от коллектива. Мама дала мне с собой ложечку из нержавейки, с узорами.

Дядя Ваня был похож на мясорубку. Пережёвывал костлявые щучьи куски, энергично двигая челюстями. Каким-то немислимым способом сортировал во рту съедобное и несъедобное, не прибегая к помощи рук. Выплёвывал кости целой кучкой. Я с удивлением наблюдал, как рядом с дядей росла гора отходов.

После ухи мужиков потянуло играть в футбол. Пошли на поле за огородами. Опять разделись до трусов. Ворота обозначили ворохами одежды. Дядя Ваня еле держался на ногах. Кричал:

— Ухожу в глухую защиту!

Мотался возле ворот, упал, запутавшись в своих ногах, и уснул.

Накануне Нового года дедушка подозвал бабусю:

— Натанзон умер. Обширное кровоизлияние в мозг.

Деда выпил таблетки. Долго читал газету, потом сказал:

— О-от пишут — хороший полководец был маршал Блюхер. — И, вздохнув, добавил: — Хоть и еврей.

Володя

В одной из детских книг — не помню какой — герой цитировал Писание. Там были мудрёные слова, похожие на стихи, только в прозе. Кажется, мне было тогда лет десять. Я спросил у мамы, что это такое.

— Тебя, сынок, в церкви окрестили, — ответила она.

Открыла шифоньер, запустила руку под сложенное ватное одеяло, вытащила целлофановый пакет. В нём лежали самые важные документы: паспорта, моё свидетельство о рождении, сберкнижка и согнутый вчетверо тетрадный лист, испещрённый корявыми буквами.

— Молитвы, — сказала мама, разворачивая листок. Оттуда на её ладонь выпал белый пластмассовый крестик на шнурке.

— Вот. Твой...

— А для чего это?

— Так надо. Может, болеть меньше будешь...

Я закашлял. У меня тогда было обострение хронического бронхита. Выждав время, когда мама уберёт всё обратно в тайник, я спросил:

— А ты читала Писание?

— Одна женщина давала мне «Иванглию». Книжка такая, божественная. Почитала немного — ничего не понятно. Чушь какая-то...

Тот же вопрос я задал отцу.

— Я тут товарища схоронил. Ванька Кабан. Фамилия — Макарычев. Мы его Кабаном звали. Ванька... Мужик! — отец смахнул выступившую слезу рукавом фланелевой рубашки. По выходным, выпив с похмелья «Жигулёвского», он бывал чувствительным и разговорчивым.

— Приснился мне. Всё, говорит, слышу. Машины по дороге едут, а я, говорит, слышу, «КамАЗ» проехал — слышу, «копейка» — слышу. Кладбище возле дороги. Лежу, говорит, и слушаю, как машины едут... — Отец высморкался, ощупал карман. — Господи-и!

Мать вынула у него все деньги, чтобы он не мог пойти в разливайку.

— Писание? — бабушка в тот момент пекла блины. — Как же,

есть Писание. Там про всё сказано. Как на духу!

Очередной блин плюхнулся в тарелку, где уже была целая стопка.

— Вынимай нижний и ешь. Остыл уже! — скомандовала бабушка.

Я вытянул блин, но не самый нижний, а самый подгорелый — мне такие нравились — отложил себе на тарелку. Оторвал кусочек. Сухой, пахнувший гарью, — самое то.

— А про что там? — спросил я.

— Про всё, внучек, — бабушка продолжала наращивать горку с блинами. — Ираида Тарасовна рассказывала: сказано в Писании — придёт к власти Михайло Меченый. В конце времён. А после него — светопредставление.

Бабушка приоткрыла шторку, скривилась. Я тоже выглянул, увидел молодую соседку, — как обычно, в короткой юбке.

— А ещё сказано, пойдут девицы — бесстыжие лица, — продолжила бабуся тихо и зло.

— Куда пойдут? — не понимал я.

— Вырядилась! Галке по сикалке.

— Баб, куда они пойдут?

— Для таких мест слов приличных нет. Тебе лучше не знать, — отмахнулась бабушка. — Мал ещё.

Свежеиспечённый блин упал, наполовину свесившись с горки.

— Я коммунист, внучек, — ответил деда. — В КПСС состою. В Писании опиум содержится. Нам, партийным, не положено. — Дедушка поправил очки. Он лежал на диване, читал газету «Правда». Слегка приподнялся, взглянул на меня поверх очков: — Володю знаешь из первого подъезда, с деревянной ногой? У него, по сведениям, Библия имеется. Пропащий...

— А что такое Библия?

— Это Писание такое, у этих... у попов.

Дедушка заснул, накрывшись газетой. Я наблюдал, как при каждом вдохе «Правда» немного приближалась к мясистому пористому дедушкиному носу, а при выдохе, вибрируя, отскакивала на два-три сантиметра.

Про Володю говорили, что в молодости он был шпаной, жил в частном доме на улице Ухтомского, — она тянулась вдоль железной дороги от вокзала до самого моста через речку, который охранял дедушка. Вся улица промышляла грабежом товарных поездов. Володя с товарищами забирался в вагон и вёдрами выносил оттуда со-

циалистическое добро — в основном каменный уголь.

Особенно ценился уголь-антрацит. Деда показывал мне куски антрацита, изредка попадавшие среди шпал или на каменных насыпях. Вроде бы такой же чёрный уголёк, но блестящий. Блеск черноты — это и впрямь выглядело красиво.

По рассказам старушек, Володю неоднократно сажали в тюрьму. Однажды, после очередного налёта, он неудачно прыгнул с тронувшегося поезда и угодил под колёса. Многотонный советский паровоз, на котором, возможно, катался ещё сам товарищ Ухтомский, переехал Володину ногу ниже колена. Так он стал инвалидом.

В 1960-е годы улицу, населённую привокзальной шпаной, снесли. Жильцам дали квартиры в пятиэтажках на улице Толстого. В тех же домах получили жильё работники железной дороги и те, кто её охранял. Володю и его престарелую маму поселили в однушке на втором этаже. Старушка вскоре угасла, и бывший грабитель поездов остался один.

В отличие от других жильцов, Володя никогда не выходил си-

деть на лавочку. Он куда-то отправлялся каждый вечер, чем вызывал пересуды.

— Шайкой верховодит! — предполагал дедушка.

Соседи соглашались.

В то время я зачитывался книжками про пиратов, и этот сосед-уголовник стал к ним живой иллюстрацией. В моём воображении он был Джоном Сильвером, укrywшимся в СССР от английского правосудия. У Володи была копна чёрных курчавых волос, окладистая старорежимная борода. Из-под его правой штанины торчал деревянный штырь с тупым железным наконечником. Володя наловчился ходить без костыля и даже без палочки. Слышно его было издали. В этом звуке мерещились сундуки с пистрами, чёрные метки, «Эспаньола», йо-хо-хо и бутылка рома.

Неожиданно для всего дома Володя принялся чудить. Впервые он привлёк к себе внимание на Первомай — вышел на балкон абсолютно голый. Стоял, щурился на весеннем солнце, о чём-то по-доброму переговаривался с соседями, усевшимися на лавочке возле подъезда. Им снизу Володя был виден лишь по пояс. Они

думали, что всё в порядке — не много необычно, но не более того. Мужик, истосковавшись по хорошей погоде, принимает воздушные ванны, — имеет право.

Одна женщина, жившая на четвёртом этаже, выбежала на улицу и полушёпотом рассказала, что тут дело посерьёзнее. Сверху она разглядела, что Володя наслаждается Первوماем без трусов. Значит, пора вызывать милицию или психиатрическую неотложку, а лучше всех сразу, а там уж они между собой разберутся, куда его везти.

Весть распространилась быстро. Те, у кого был хороший обзор, вышли на балкон, другие высыпали на площадку перед подъездом.

Увидев, что зрителей собралось в избытке, Володя привязал к черенку от швабры простыню, стал размахивать самодельным знаменем. Он что-то выкрикивал, но порывистый ветер уносил его слова. Некоторые потом говорили, что слышали в Володиных речёвках прославления государя-императора и призывы к свержению существующего строя.

Люди, возвращавшиеся группами с первوماйской демонстра-

ции, приветствовали Володю. Им, подвыпившим, казалось, что это бодрый физкультурник или тоже выпивший, а может и то и другое — в любом случае советский человек, который от избытка чувств и здоровья решил стать ретранслятором телевизионных партийных здравниц. Подходя ближе, они менялись в лице. Володя вошёл в раж, встал на табуретку, не боясь соскользнуть деревянной ногой, и теперь уже всем стало видно, что размахивает он не только флагом.

В тот день я гостил у своих старичков. Дедушка и бабушка готовились пообедать, когда через открытую форточку донёсся крик: — Вера Фёдрр-р-на-а! Быстрой! Володька мудями трясёт!

В этом вопле одновременно чувствовались тревога и радость. Как если бы в ближайший магазин завезли дефицит, но неизвестно, хватит ли его на всех, вставших в очередь.

Нам не хватило. Когда мы выбежали на улицу, Володи на балконе не было. Санитары управились быстро. Соседи говорили, ветхая дверь слетела с петель с первого удара.

Я и раньше видел сумасшедших. Сёма, например, ходил

по городу в штанах с прорезью на заднице, чтобы сподручнее выпускать газы. А Люба-дура, нескладная дылда, каждому встречному рассказывала о своих вымышленных женихах, а заодно о ценах на колбасу «Хлеб» в ближайших магазинах. Но Володя был носителем иного безумия, чей источник коренился не в нашем быте.

Володю продержали в психушке месяц или два. Очередное чудачество он устроил летом. Вечерами Володя стал выходить — сидеть на лавочку. Сидел и у своего подъезда, и возле нашего. Притихшие старушки слушали его рассуждения о несовершенстве нашей жизни. Когда он уходил, делились впечатлениями:

— Какой начитанный, оказывается. Прямо как юрист говорит! Весь Уголовный Кодекс на зубок знает! А ещё в Святом Писании подкован...

Через неделю-две бабушки, прикормленные умными речами, расслабились. И тут Володя нанёс им удар. Как обычно, подсел и завёл беседу, кажется, о том, что разбойник, висевший рядом с Иисусом на кресте, попал в рай первым

из людей. Пенсионеры стали воротить от Володи нос. Пахло экскрементами. Одна остроглазая старушка заметила на Володиной рубашке нечто подозрительное. Бабушки зашущукали и под предлогом, что нужно идти смотреть программу «Время», разбежались по домам.

— Точно тебе говорю — точно! — доказывала глазастая старушка остальным. — Вся спина измазана. Рубашка у него коричневая, сразу-то не заметно.

Следующим вечером всё повторилось. Только теперь Володя нацепил поверх рубахи сложенную рулоном простынь. Получилось похоже на орденскую ленту из фильмов про XIX век. На спине эта штукавина утолщалась — там из-под белой ткани просвечивала коричневая субстанция. Бабушек как ветром сдуло.

Через два дня Володя сделал свой наряд ещё более чудовищным. Он пришил квадратный кусок простыни к спине рубашки и обильно обмазал его фекалиями. Это напоминало японский флаг, только не с красным кружочком на белом поле, а с коричневым. Теперь, вечером, едва слышав стук Володиной ноги, старушки,

охая, покидали насиженные места. Володя сидел в одиночестве на самых удобных лавочках. Лениво курил «Приму», ухмыляясь заходящему солнцу. Что-то бормотал про себя.

Нам из окна первого этажа всё было отлично видно.

— Посмотри сколько сегодня говна наложил! — удивлялась бабуся, подзывая деда. — И откуда у него столько? Каждый день свежее... Дома шаром покати, есть нечего. Вон и тараканы его к нам обедать ходят.

— Дмитрий Павлович его на вокзале застучал, в общественном туалете, — раскрыл секрет дедушка. — Он там с чайником был. В него, значит, собирал.

Днём Володя вывешивал зловонный наряд на балконе. Вокруг него вились зелёные мухи.

Представление длилось две недели. Потом у жильцов сдали нервы, позвонили, куда следует. Приехала неотложка и забрала Володю. На волю он не вышел. Зимой стало известно, что Володя скончался в психиатрической больнице. Говорили, заболел воспалением лёгких, а лечить его не стали. Зачем на дураков переводить лекарства?

Родственников у Володи не нашлось, и квартира отошла государству. Соседи по лестничной клетке рассказывали, что, когда новые жильцы открыли дверь, ужаснулись. По стенам врассыпную бросились полчища прусаков, с голодухи доедавших обои в цветочек. Из мебели была одна железная кровать. В углах комнаты валялась какая-то ветошь. В кухне на трёхногой табуретке лежала единственная в доме книга — Библия.

Библию взяла некая женщина, просочившаяся в жильё с другими зеваками. Никто её не знал. Откуда она взялась? Точно не из ближайших домов.

— Писание тараканы не тронули. Книга старинная была, в кожаной обложке, — сожалела соседка Зинаида Петровна об упущенной реликвии.

Тогда мне подумалось, что читать Писание — большой риск. Неизвестно, как повлияет опиум на твой организм — увидишь ли ты отблеск рая или начнёшь обмазываться говном. Несмотря на предостережения дедушки, мне хотелось рискнуть.



ИЛЬЯ

МАТВЕЕВ

Бедный банан!

Бедный, бедный банан,
Нет у тебя ни песо.
Тёмные пятна по жёлтым щекам...
Ночью лежишь на дворе
И смотришь на звёздное небо.
Бедный банан, увы!

Бедный, бедный банан!
Брезгают тобой monkey.
Лишь одна оборвашка зовёт тебя папой.
В ответ ты молчишь.
Как же так, бананчик?
Бедный банан, увы!

Бедный, бедный банан,
Вчера ты ходил в цирк и плакал
Так, что лопнул твой жёлтый пиджак
И нечем прикрыть стыд,
Ведь нет у тебя ни песо,
Старый, лысый банан!

Когда пойдёт снег,
Ты, видимо, бросишься в море.
С самого высокого утёса,
На который только сможешь подняться.
Бедный банан, что же всему виной?
Никто не завидует тебе
И не ищет встречи,
Бедный банан, увы!

Февраль

Ветер хватал тополя за верхушки,
В гнёздах ногами болтал.
Лужу наморщил,
Ударил кормушку,
Мокрый клубок размотал.
Лихо вбежал на крылечко,
Сбил сигарету щелчком,
Только два дымных колечка
Я защитил рукавом.

Рыба пчела

Рыба-пчела
Не делает зла,
А делает мёд.
Вот.

В рифах кружит,
Тихо жужжит,
И каждый рад
Гад:

Рыба-пила,
Рыба-метла,
И рыба-нож
Тож.

Рыбу-пчелу
В гости к столу
Часто зовут
Тут.

Лучше, чем тот
Полиповый мёд,
На глубине
Нет.

Мушка

От лучей СВЧ
Увернувшись ловко,
Мушка брюшком стучит
В дверь микроволновки.
Как же получилось так?
В чём её вина?
Видно, в макаронине
Пряталась она.

Пусть не разогрелось,
Я открою дверцу,
Чтоб не разорвалось
Маленькое сердце.

Вернулся в провинцию в новых штанах.
Тысяча ли за спиной.
Видел я блеск обеих столиц,
Шапкой машу рыбакам.
Вот моя улица, вот мой порог
Остались без перемен.
Лишь я постоянно пытаюсь убить
Снежинку на рукаве.

Ноябрь

Осыпались листья у винограда,
Видно, как моет машину сосед.

Мастер-класс от рыжей. (Я всё понял)

Заработай на своём любопытстве.
Они живут не там, где мы,
В чистоте, в серебре
Не волнуйся, если хочешь, выпей апельсиновый сок
И смело ныряй к ним на дно,

Головастик — это фундамент,
Это божий сосуд.
Если хочешь, нарисуй его.

Завтра звуки Ирана.
Приходи и приноси с собой гобой.

На свете белом
Розовый снег,
Блестит пятнистой жемчужиной лёд.
На скользкой дороге
Пломбир шоколадный,
Опавший с колёс.
Вот:
Хлебный киоск,
Облупленный дом,
Герань за стеклом
И в комнате тёмной прижался к стене
Наш старый знакомый
Сервант с хрусталём.
А на снегу
Синей насмешкой
Глянцевый вкладыш Патбома.
Он ароматный.
Выбросил кто-то...
Кто-то неискушённый.

Выскочил серым клубочком котёнок, будто позвали, а там:
Тянулся лохматый живот проплывающей тучи,
И в розовом свете дождик лил,
И с яблони медленно цвет облетал,
Крахмальный цвет, белый.
Мотался смородины куст,
Сырела в посудине кость,
Котёнок сидел в проёме двери,
Молчал удивлённо,
А тучи так же устало брели

Из-за серых гор и за горизонт,
 Куда-то в свою дождевую страну, там, где туманы, наверно,
 Так далеко-далеко
 Шерстинки пригладило ветром,
 В луже, кипящей дождём, мок розовый зонт, забытый кем-то...

Оторву окно, эти грязные ленты бумаги с разводами ржавчины пылью
 вниз крошки бетона в лужи слепящего света мокнуть цветными
 гранями радовать школьников с окна на другое голубь порхнёт
 белый кот на балконе и в тысячный раз прошёл свой матрас
 я устал плести волосами дым эти дни сквозь грязный скотч наблюдать
 глазами рыбы не ожидая всё же ждать
 солнечный ветер я словно вязаный свитер с большими ячейками
 сеть что гнила в темноте
 вдруг слышу пение птиц и шум детей и машин после ста лет
 тишины и глины
 У меня тоже весна
 Мы тянем друг другу нити.

В саду

Ночью в саду
 Ем зрелые сливы,
 Зрелые сливы вкусные.
 До петухов их ем.
 Личинка жука встрепенулась,
 Ботву пожевала.
 В третьем часу уснула,
 На пузо лапки сложив,
 Я выбираю сливы,
 Ярко луна летает.
 Ветки дерут мои руки,
 Слива на ощупь мягки,
 Медленно слизень ползёт по пятке
 И опускается долу,
 Слива на землю пала...
 Пусть, я тут не один.





АНИНА

КРЕСТЬЯНИНОВА

Fashion

Открытый вырез не по погоде.
Не рада снова тебя не видеть.
Как жаль, что чувства сейчас не в моде,
Мне так хотелось тебе их выдать
С надрывом трепетной нимфы леса,
С отвагой доблестной амазонки.
Но демонстрация интереса
Вразрез с подачей мяча в пинг-понге.
Мой допинг — слабый эффект плацебо
От созерцания видов с вышек,
Когда ты смотришь на волны неба
И от волнения еле дышишь,
Преступно, жадно глотаешь воздух,
Не отдавая себе отчёта,
Что где-то там, на далёких звёздах,
Есть ОН, который грустит о чём-то
Не обретённом, необратимом
И недосказанном в срок и кстати.
Он так боялся быть уязвимым,
Что на эмоции сил не тратил.
Он так стремился казаться сильным,
Что в своей жёсткости стал упрямым.
Чтобы не выглядеть инфантильным,
Он неуклонно сверялся с планом.
Пока другие сплетали гнёзда,
Он пробивался к своей свободе.
Он где-то там. На далёких звёздах.
Он думал, чувства сейчас не в моде.

Выдыхай

А давай ты поставишь на паузу свой поток.
 Замирай и послушай пульс вековых секвой!
 Можно гнаться к себе от себя же не чуя ног,
 Но ты в самом начале маршрута была собой.

На все стороны света-планеты задай вопрос.
 Опасайся дурных советов и полумер.
 Проездной на автобус, потом автостоп колёс,
 И заметки про ветки из образов новых эр.

Находи свои смыслы-призвания между строк.
 Между делом и между прочим лови свой кайф.
 Если жизнь — бесконечное множество всех дорог,
 То ищи в этом множестве. Можно же. Выдыхай!

Сарруццо

Я проиграла в обрывках чужих ролей.
 Честный сюжет «про себя» оробел под кожей.
 Что ты стыдливо там топчешься у дверей?
 Ну же, смелее! Разуйся в моей прихожей.
 Располагайся в кресле, укутай в плед
 Зябко дрожащие в ритме часов колени.
 Я без тебя натворила немало бед,
 Но без сияния не существует тени.
 Я тебя путала с каждым вторым подряд,
 Перебирала в попытках совпасть в размере.
 Знаешь, совсем не глупости говорят:
 Прежде, чем резать, неплохо семь раз отмерить.
 Только вот я не чертила себе лекал:
 Толку кроить, если бал превратится в тыкву!
 Я же не знала, что ты меня там искал.
 Думала: к чёрту любовь, как-нибудь привыкну.
 И привыкала. Прививкой сочтя укол,
 Переболела предательством в лёгкой форме.
 Как хорошо, что теперь ты меня нашёл!
 Ждали один вагон на одной платформе,
 Не рассмотрев под масками честных лиц,

Не распознав в толпе близкий сердцу запах.
Ты молодец, что решился взять чистый лист,
Я молодец, что услышала рифмы в знаках.
Будет ещё тебе молоко и мёд.
Будят меня теперь на рассвете птицы.
Не убавляя скорость, идём на взлёт.
Не забывай: мне без сахара. И с корицей.

Dolce Vita

А всё вполне себе Dolce vita:
Весь хлам распродали на Авито,
Вокруг ковида всё меньше шума,
А ты похож на Орландо Блума.
Ты шлешь мне в личку дурные мемы,
А я пишу для тебя поэмы,
И вдохновение выше сосен,
И очень хочется встретить осень
С тобой, накрывшись непальским пончо,
Любить тебя и смеяться звонче,
Чем арфы чёртовых херувимов,
И слушать пульс проходящих мимо,
На три четвертых размер меняя,
И пить коньяк из пиал для чая
В одном из тайных дворов Парижа.
И я так ясно всё это вижу,
Как будто сон про былое детство,
Где пристань старая по соседству,
Где были действия вместо планов,
И вместо денег кулёк каштанов,
И плотный крем на коржах бисквита,
Где тоже было всё dolce vita.

Лёд-9

На меня накопилось достаточно компромата:
На деревья плевала, стучала через плечо.
Проклинала, приветствуя, ласково крыла матом,
Раз за разом, зараза, цепляясь за твой крючок.

Разжигая пожар, нужно попросту чиркнуть спичкой.
Раздавая уроки, готовься и будь готов
Приближаться к ответам, свой ключ заменив отмычкой,
Проникая в секреты любых подвесных замков.

Суперзвёзды без спутников путают страсть со страхом.
Суперскорость сбавлять нет желания, средств и сил.
Я, рискуя, рисую сюжеты с таким размахом,
О котором ещё никто меня не просил.

Мне упорно твердили, что нужно быть «самой-самой»,
Под попкорн — мелодрамы, а порно — под кола-ром,
То, что встроенный в строй будет стройной рекламной парой:
Где «женаты» на первом, «на ты» уже на втором.

Расплескала все чувства, как слабый дешёвый кофе, —
За открытость в ответ получила суровый счёт.
Белый флаг разлагается в чреве моей Голгофы.
В колыбели для кошки прозрачно-кристальный лёд.

Пряные кнуты

Пополом разделили ставки.
Счёт: ничья. И реванш ничей.
Мы вносили свои поправки
В предписания палачей.

Непристойно сгущались краски,
Усложняя простой сюжет:
Где несмело снимали маски,
Там поспешно гасили свет.

Карнавала не будет: будни.
Хороводом несло на дно,
Где судью на разбитом судне
Заменил режиссёр кино.

Не узнали себя без грима,
Но назвали чужих семьёй.
Мы сравнили себя с другими
И сровняли, сравнив, с землёй.

Мы в безумии близких раним,
Не жалея жестоких слов, —
Нам за каждый горчащий пряник
Доставалось по пять кнутов.

Разложили на три аккорда —
Разрешили дуэтом нот.
Кто решение принял твёрдо,
Тот смелее плывёт вперёд

К монохромным лучам рассвета,
К многотонности горных льдов,
Мимолётным отлётам в лето,
Многоточиям вместо слов,

Где расстёгнуты все булавки,
Где реальность границ во сне...
Штрих-пунктиром на пункт доставки —
К Луне.

Вдохновение на выдохе

Каждому свой перекрёсток, своя печаль.
Свой светлый образ, раздробленный по частям,
Свой часовой ремень, своя соло-роль,
Свой приходящий вагон на пустой перрон,
Совесть, распятая на четырёх гвоздях,
Свой монолитный страх у себя в гостях,
Свой полноценный облик, свой пункт, свой путь.
Не заплутай и не суйся в чужую суть.
Можешь следить, но не следовать по пятам.
Чувствуй «сейчас и здесь», не «потом и там».
Смыслом насквозь пропитался слоёный торт.
С мыслями ужилося, что когда-то вступало в торг.
Вышито красной нитью внутри границ,
Выбито чёрной краской промеж ресниц
Соединение света в обратной призме
В день обретения долгой счастливой жизни.



ВЛАДИМИР

ЛЕВИН

У стен
Степного капища
На день архитектуры
Праправнук сына божия отроет мой скелет,
Прочтёт глухую исповедь
И завернёт в три шкуры,
И артефактом вынесет в музейный лазарет,
Где сторож Иегова на входе скроет камеры.
И несвятые мощи
Изыщут вскоре жизнь:
Их встретит Полиграфович —
Брюхастый врач кунсткамеры,
В руке держа гипофиз, в другой — детектор лжи.
И выйдут с балалайками
Шаманы поднебесья
И с лёгким дуновением профессорской руки,
С языческими плясками
Партийного конгресса
К мощам
Степного капища пришьют семенники.
Главврач забудет выследить
Масштаб цепной реакции,
И из могил поднимутся заложники систем:
Крестьяне, диссиденты
С волной реинкарнации
Поднимут флаги, вымпелы и двинут на Эдем,
Гремя костыми да латами с
Сонатами Шопена,

В кольцо возьмут пристанище небесного плетня,
Но божье царство
Выстоит без мятежа и плена,
Лишь бросит в осаждающих
Троянского коня.
Переведут архангелы с
Удушливым терпением
Восстание усопших в систему похорон,
А в древней хронологии, где летоисчисление,
Появится сказание про
— Лазарь, гряди вон!
Во рвах
Степного капища
В лаптях
Наследник божий
Инкогнито зароеет обратно мой скелет,
Прочтёт глухую исповедь,
Пойдёт по бездорожью
И станет проповедовать, что смерти больше нет.

Детство 90-х

Было всё:
И гудрон, и денди.
Казачи-разбойники в подвале.
В карманах — карманные деньги,
Если старшие не отобрали.
Было всё:
Снежки и ледянки,
И жвачку пилили ножом.
Ты не видел системные рамки
И гулял босиком под дождём.
Было всё:
И спички, и гвозди,
И драки в соседнем дворе,
Но не было жизненной злости

В окольной моей детворе.
У девчонок —
Мамины клипсы,
У мальчишек — папкин рюкзак.
Это первые рваные джинсы,
Это бабкин в деревне чердак.
Было всё:
И ставили в угол,
Если двойку принёс по лит-ре.
Но я знал,
Что живём мы друг другом
В подростковой одной коже.
Было всё:
И проезд безбилетный
На последнем сиденье трамвая...

Я встречаюсь с 17-летней.
Она кончает с раздачи Wi-Fi.

Точка

Вот посмотри:
Есть ты и точка,
И этой точкой будешь ты,
Неповторимой одиночкой
Начала жизненной черты.

Взгляни вокруг:
А что за точкой?
Чертовский ад или эдем?
Но ты окутан оболочкой —
Пространством собственных проблем,

Разбором личного вранья
В своём суде, но без присяжных.
Ты эпицентр бытия,
И что за ним — не архиважно.

Ты просто маленькая точка
В своём кругу немой глуши,
А жизнь — нелепая отсрочка
От воскрешения души.

Ну вот и всё.
Была ли точка?
И был ли в этой точке ты
Самовлюблённой одиночкой
Конца извилистой черты?

Эсхато

Когда
Свободный сын земли,
Способный стать творцом метафор,
Испьёт остатки бытия
Из апатичных
Сущных амфор —

В труху сотрутся города.
Иерихонская труба,
Как резонанс,
Разрушит стены.

Давите из себя раба
Под каблуком
Глухой системы,
Что туже лонжи, крепче лба!

Быть может,
Правнуки людей
Сойдут из Шамбалы Тибета
И на предгорье судных дней
Увидят скопища скелетов,

Под пеплом — телли Вавилона
В плаще евангельских мистерий,
Останки храма Соломона,



Руины канувших империй,
В золе — московские куранты,
В песке — обломок пирамиды,
И побредут искать атланты
Прибрежье новой Атлантиды.

Да, мой друг —
Был да стух,
Как пастух без стада,
Как полёвка в соломе,
Как стальная ограда при исходном симптоме,
Коли ноша — не та
Да поклажа — тягуча,
Выпей пену у рта над обрывистой кручей —
Котелок нервных жил,
И закинь свой язык
На заплечный режим под адамов кадык.
Донеси, не пролей
Чарку мамкиных щей
В событийной опале резонансных вещей,
Где не бравые дали,
А скрижальные плиты.
Там, где нравы, морали — не по совести сшиты.
Обожги у горшка
Все глагольные строфы.
От стыда — два вершка и галопом на стропы —
В колею бытия
Бесшабашного лада,
Где плелись ты и я по прогорклому смраду
На кулички к чертям.
Да, мой друг, нам невмочь —
Этот крест по частям в ягой ступе толочь.
Так — пролей котелок
В стародавний ручей.
Завяжи узелок. Развяжи и запей.

Слово

Греми, моё слово, по сёлам,
Покуда
Не вырубил жестяным молотком
Язык мой —
Гнилая, гнедая паскуда,
Где бледно и скудно,
Где бедно и худо,
Шершавым, как шершень, родным языком.
Греми, моё слово, по долям и весям,
На выселках виселиц,
В петлях петлиц.
Без давки от прессы,
Удавки и стресса,
По пням архаизмов и этногенеза,
Сквозь плач пыльных бойниц в утробах больниц.
Лепись, моё слово, из пепла и глины,
Где бродят,
Как дрожжи, азы ремесла.
Что есть в нас святого?
Кропи именины
Языческим лязгом Велеса весла.
Греми, моё слово,
Да коль — бестолково,
Хомут натяни на гарпунный кадык,
Лови всех на слове, но каждое слово
Пойми с полуслова, забросив язык
За чёрные зубы из гари да сажи,
Где ценности смысла — в подтекстном разрезе,
А что на уме — язык не расскажет,
И грузное слово в карман не залезет.
Греми, моё слово, по долям и весям,
Храни мою жизнь, как пастух — рубежи,
От давки злой прессы,

Удавки и стресса,
К ночи спотыкаясь от ран и порезов —
Держи на ногах меня,
Слово, держи!

Судный день

А Тибра глазища
На выкате
В волнах
С прищуром смывали стеклянный песок
В бездонное,
Тинное,
Римское горло,
И пел рок-н-ролл штормовой водосток,
Крутился
Волчком,
Разливал самогонку
И гнал марианские рифы стеречь
В забытую
Буддой
Глухую воронку,
Где синонимичная смерть вихрит смерч
В Геенных
Котлах
Паровой кочегарки,
В долине Еннома, где плач да хандра,
Смешаются с волнами
Слёзы
Петрарки
И хлынут на Лауру, как из ведра.

ВЛАДИМИР ГЕНЕРАЛОВ

...сегодня утро такое тихое, аж до звона
молоко на плите пролитое, на столе фрукты.
всё застыло... замерло. друг мой умер.
умер — всего четыре простых буквы...

ходишь по комнате. ходишь.
ногами босыми линии чертишь.
выводишь схемы дорог.
садишься и пишешь.
в правой — фломастер. в левой — зачем-то нож.
пишешь «Здравствуй, мой д...».
«мой д» — перечёркнуто. дым сигаретный.
на двух ножках стула качаешься.
слышишь, как муха безрезультатно буравит окно.
рушится пепел и мягко бьётся о дно.
пепельницы на день не хватает.
здесь боль и возня между утром и ночью,
а каждый второй живущий — мертвец.
две пули над «е». тишина. многоточие.
исшаркан карниз подошвами детскими,
и плесень на рейдах сжирает все корабли.
не успеешь сказать «воон там. посмотри»,
а их уже нет, как и не было никогда-никогда.
тихо бухает колокол Ллойда. молча течёт вода.
и гадаешь «как же я всё ещё здесь жилец?»
пишешь с новой строки. с заглавной.

в буквах залит свинец.
в правой — фломастер. в левой — зачем-то нож.
«Здравствуй, милый. не приезжай.
к сожалению, ты здесь умрёшь».

Дирижабли по небу плывут медными рыбами.
К войне всё готово: окна ватой затыканы,
Отопление включено, помидоры засолены,
Одеяла в одеяла с божьей помощью встроены.

Телефон на беззвучном, обесточен телек.
Никаких нам англий, никаких америк.
На столе дымит чайник. Зима собирает силы.
Всё готово к войне.
Все пока ещё живы.

Кондратьеву С.

... потолок. Комната без окон.
Coltrane. Пыльный ловец снов.
Откровения в тёмных окончаниях вагонов.
Пенза — Москва... Пенза — Ростов...

Девочка

вот девочка идёт на пруд этим летом.
через семь лет она станет красивой женщиной.
будет влюбляться. искать встреч. расставаться, при этом
манерно пить виски с содовой, баловаться сигаретой.

смотреться в зеркало недовольно или совсем напротив.
подруге завидовать. худеть. есть шоколад. сидеть на диете.
выскакивать замуж. любить сверху. любить быть любимой.
просыпать работу. в носках шерстяных мечтать зимою о лете.

краснеть от наслаждений. прижиматься ногами.
бывать на концертах исполнителей модных.

вести жж. читать пелевина, листать мураками,
мечтать над сюжетом в гостиницах потных.

рожать один или несколько раз. возможно
разбираться в Сартре. платить за квартиру. готовить ужин.
бывать в театрах. ревновать. осторожно
бросать взгляд на мужчин, на интерьер в стиле фьюжн.

ходить к стоматологу. судачить с соседкой.
хоронить родителей. беспокоиться на счёт поминок.
сидеть в соцсетях. отмечать юбилеи.
хранить фотографии. лечить орз. бегать на рынок.
платить ж.к.у. убираться в квартире.
откладывая на смерть. крутить огурцы на зиму.
мечтать о загранке. пить корвалол. ходить в гости.
покупать красный форд. продавать ладу калину.
мазать кожу кремами. ругать втихаря начальство.
возиться с внучатами. удивляться «как теперь так живут»
и вспоминать, как она маленькой-маленькой девочкой
шла купаться тем летом на пруд.

вот она — девочка. идёт на пруд этим летом.
я смотрю ей в глаза.
у неё в глазах тёплое что-то лучится.
всего через каких-нибудь пять-шесть минут
она просто утонет в этом зелёном пруду.
и затем
НИЧЕГО.
НИКОГДА.
НЕ СЛУЧИТСЯ.

заглядывать в тёплые окна вечером поздним зимним
руки озябшие греть обняв кружку горячего чая
смотреть замороженно в чёрную гладь никуда не спешащей пластинки
отпечатки пальцев неловких (на стороне А) замечая
выдумывать тайны чужие там где неплотно прикрыта штора
чувствовать близость конца как матрос осуждённый на рею
в сорокаградусный эндшпиль обернутся (как в сказке) 33 оборота
очень красиво висит мёртвый матрос. я как он никогда не сумею

все СМИ скомканы смяты и отброшены в угол
я сегодня уют. я покой. я рутина.
за границу дивана не сделаю шага
бутербродная лень как паутина
спеленала укутала в зябкий декабрь
не задев молчаливые точки глаз
я сегодня мёртвый голландский корабль
заплутавший во тьме одеяловых трасс.
брошенный всеми: капитаном командой и крысами
я в песочные часы подсыпаю украдкой песка
...а в сугроб у подъезда гениальные дети написали
лишь одно одинокое слово...
... «тоска»

ЮЛИЯ

АРЯМОВА

Находка

Саша нашёл его, гуляя по берегу моря. Слегка присыпанный песком, предмет лежал недалеко от кромки воды.

Сначала Саша решил, что это камень, и привычно заскользил взглядом дальше. Но что-то заставило мальчика посмотреть ещё раз, и теперь ему показалось, что это скорее ракушка. Саша поднял предмет и обмыл от налипших песчинок.

Сразу сказать, какого он цвета, не получалось. Будто в сердцевине проглядывал один оттенок, а у краёв другие, как бывает у глазированной керамики и тлеющего угля. А если ещё приглядеться — цвет как цвет, не зря же Саша перепутал с камнем. Да и на ощупь самый обычный — тёплый от солнца, мокрый от воды.

Формы он был округлой, но какой-то неоднородной, как выглаженный водой клубок корней. Вроде нерукотворный. А может, кто-то и приложил к нему руку — вдоль предмета бежали бороздки, из-за которых Саша принял его за ракушку. Кое-какие шли, насколько позволяла поверхность, параллельно, а иные пересекались и сплетались.

Материал тоже был неясен — для камня лёгкий, для дерева или пластика тяжёлый, ноптем царапнуть не получается.

В общем, Саша внимательно рассмотрел предмет, повертел, поковырял, понюхал (соль и рыба), сунул в карман и пошёл дальше.

Вспомнил о нём только вечером. Когда мальчик раздевался перед сном, утренняя находка выпала из кармана, и Саша не сразу вспомнил, откуда она взялась. Он ещё раз осмотрел предмет при свете настольной лампы (понятнее не стало) и положил на тумбочку у кровати. Когда Саша посреди ночи встал попить, ему показалось, что предмет слабо фосфоресцирует.

На следующее утро он опять сунул штуковину в карман. А некоторое время спустя, когда Варя, напросившаяся гулять с братом, упала и содрала коленку, — сунул ей, чтобы отвлечь и утешить.

Как ни странно, сработало. Девочка мгновенно перестала реветь, только продолжала какое-то время рефлекторно всхлипывать, вертя и разглядывая штуковину. Отобрать нечаянный подарок оказалось невозможным.

С новой игрушкой Варя почти не расставалась. Сначала шуковина выступала в играх младенчиком: девочка пеленала её, баюкала, кормила с ложки воображаемой кашей.

Потом Варины куклы стали старше и шуковина была повышена до мужа и отца (с кенами в семьях барби ситуация всегда была напряжённой). Шуковина по настроению хозяйки играла свадьбы со всеми куклами по очереди, ходила на работу, угощалась ужином и становилась одним из углов очередной любовно-драматической фигуры. Продолжалось это до того дня рождения, на котором Варя извлекла из блестящей упаковки самого настоящего Кена.

С этого момента шуковина из кукольных драм исчезла и её место занял более человекообразный объект. Ещё раз или два Варя выкапывала её со дна коробки с игрушками, недоумённо осматривала и использовала в игре как праздничный торт или предмет интереса.

Среди пластика, дерева и плюша объект, переставший быть игрушкой, лежал до тех пор, пока его не обнаружил сынишка Варвары Петровны, Рома. Ему досталась по наследству вся коробка и право распорядиться её содержимым самостоятельно.

Рома с некоторым опасением взял неведомый объект в руки и стал

рассматривать. Невозможность установить, что это, его скорее беспокоила, чем завораживала. Бороздки на поверхности объекта напоминали следы жука-древоточца, и мальчик очень осторожно потряс его над полом, проверяя, не выпадут ли насекомые. Кроме пыли ничего не посыпалось.

Объект выглядел цельным, внутри ничего не перекатывалось, но его форма, цвет и фактура чем-то не нравились мальчику. Конечно, среди маминых игрушек ничего опасного быть не должно... Рома оглядел комнату в поисках укромного места. Открыл сервант и спрятав беспокоящий объект в чайник одного из сервизов, которыми никто на его памяти не пользовался.

Спустя ещё время Роман Сергеевич взял чайник и обнаружил внутри нечто. Он немного удивился. Но, вспомнив, как они со Светочкой обсуждали дорогие сорта пуэра, понял, что супруга решила сделать сюрприз.

Вкус у напитка был странный, как и полагается: кому-то из гостей послышался привкус рыбы и гнилушек, кто-то отметил нотки дерева и пыли. Все украдкой поглядывали в чашки — очень уж необычным был цвет.

Когда гости разошлись и Светлана Борисовна стала мыть посуду, заварки в чайнике не обнаружилось.

EFFO



МИХАИЛ КАРТЫШОВ

Осторожно

Осторожно! Ты видишь разнужданность полых голов
И бессилие... злое бессилие рук человеческих?!
Совокупность желаний — клубок обезумевших змей.

Неприкрытая правда бросается грязью в свиней.
В дебрях добрых сердец размножаются полчища нечисти.
Бог, заклёпанный в гроб, хладнокровно плюёт в потолок.

Осторожно... Смотри, как смеётся великая боль,
Беззаботно танцую на кладбище мыслей бессовестных,
В эйфории сорвав с себя маску отпетого зла.

Неземная тоска от любви никого не спасла.
Проницательный взор, в лёд взглядевшись, увидит лицо весны:
Ненавидеть себя всей душой не способен слепой.

Осторожно! Ты слышишь восторженный клич бедноты,
Призывающий в стаи сбиваться и биться с богатыми?
Черноокая зависть пустыни живёт грабежом.

Переполненный — смысл найдёт без детей и без жён.
Обречённость, измученно скалясь, ползёт по накатанной.
Дальновидный, со смертью тебе перейти бы на «ты»!

Осторожно... Проникнись чарующим пением звёзд:
Ощутимая жуть одиночества нечеловечьего...
Ледяное безмолвие истины гложет нутро.

И престранное чувство «не кончится это добром»
Поглощается мыслью смиренной «дожить бы до вечера»...
Кем бы ни был твой бог, ты отчаянно веришь в авось.

Осторожно! Мы скоро увидим друг друга насквозь...

Страх

Семипядевый лоб разбился
О бетонные стены любви.
Воспевая самоубийство,
До семидесяти живи.
О двуличии всех живущих
Сокрушался актёр плохой.
Пел, рыдая о райских куцах,
Оды аду поэт бухой.
Хохотала земля до колик
Над сказавшим: «Я – Бог! Я – Царь!»
Потерявший цель трудоголик
Верил истово в пот лица.
Волчья шкура, под ней – овечья,
А внутри – первобытный страх,
Одиночество нечеловечье
И тоска об иных мирах.

ЕВГЕНИЙ

ЦШТОРМ

Распростёрлась простыня и гогочет.
Тень безумного царя ночи хочет.
Гнутя вилки, и ножи, и посуда,
И рассудок дребезжит, как Иуда.
Окантован Канта квант. Смысла нету.
Пирр пирует. Посему дай монету!
Не гляди, что этот мир-наизнанку
Истончится в белый дым спозаранку.
Ешь и пей, любись,
молись без ответа.
И держись, холоп, держись.
Денег нету.

Говоришь сам себе: «Не надо!»
И отпалкиваешь ладонь.
Под бинтами пусть спит, и взгляда
Не бросай на былую боль.
Пей таблетки и спи спокойно,
А бессоница — так пиши.
Как тебе без неё не больно,
Только ноют на ране швы.
Но не трогай! Не рви! Не помни!
Под повязкой твой рай и ад.
Заверни их ещё укромней,
Пусть молчат.

ОЛЕТ

МИРОНОВ

Попробуй-ка

Тридцать лет одиночества
С короткими перерывами счастья —
Для того, чтоб больнее и ярче
Печаль.
И когда глаза смотрят вдаль —
Почему-то расплывчато.
Может быть, слёзы,
Может, очки запотели...
«А как вы хотели?» —
Снисходительно-иронично у меня в голове, —
«Это ведь вам не в тапки...
Того...»
И катится дальше жизнь-колобок
На последнюю встречу с лисой.
И даже не жалко:
Корыто разбито,
Масло по рельсам
Красиво разлито,
А у камня свернул не туда.
От войны и от голода,
От тюрьмы да сумы...
Сам знаешь:
Не бойся,
Лицо попроще носи,
Не верь никому
И ничего
Ни у кого
Не проси.

Поэту Александру Бушуеву

Лето мёртвых поэтов целовало нас в лоб.
Лето мёртвых поэтов всегда так целует:
Когда никто из нас не готов.
Нам ведь всем всегда не хватает времени,
И получается как в том маленьком томике:
Может быть, Маяковского?
Или всё же Есенина?
Скажи мне, мой друг, легко ли здороваться за руку с Богом?
И каково оно — рукопожатие Богово?
А между прочим, ты мог бы быть яблоком.
А между прочим, ты мог бы быть облаком...
Было что-то похожее у Есенина,
Или, кажется, Маяковского...
Скажи, неужели так важно попасть в хрестоматию?
Да ты сам знаешь, как обычно случается:
Человек жить не может спокойно,
Душу выворачивает,
Грешит,
Потом кается...
А в конце...
Оказывается,
Что вокруг никого,
Кто бы встряхнул за плечо,
Кто остался бы до конца.
И в итоге
Один за всех, как всегда, подышает,
Зато все бухают
За одного.

ОЛЬГА СМИРНОВА

Игра с Судьбой

Судьба с тобой играет в кости.
И только начало везти —
Как вдруг перед тобою карты
Для подкидного дурака.

Как только козыри в кармане,
Победа вроде бы близка —
Но глядь — перед тобою фишки,
Крупье, рулетка, казино.

Как только сделаны все ставки
И колеса начался бег,
Ты видишь клетчатую доску —
Твоим фигурам шах и мат.

Играть с судьбою бесполезно,
Поскольку правила — её.
Попробуй русскую рулетку,
Адреналином насладись.

РУСЛАН-БЕК ДЖУРАБЕКОВ

война
дело
двоих
куцых глупых тупых
не важно каких
где два
там она
тупая уборка человечины
из вечного
из ссадины вечных льдин
на рыжий песок пустынь
падает алпадин
лампа во лбу
почему
а я
е..
главное
что один
и никакие сны
не оправдают
войны

любовь
дело двоих
смелых весёлых злых
да похер на всех других
где двое
там три или более
рисунки на новых обоях
зарубки на косяке
и пофиг
что их до хрена
всех приберёт война

сорвётся с крыши
короче
смотрите выше

жизнь
дело двоих
жестоких и одиноких
простых
как ветер в питерских лёгких
прилипших друг к другу во сне
выживших на войне
куда уже ближе
короче
смотрите ниже

пьём кофе
по окончании боя
нас
только
двое

Рождество

В сизую лужу пролил молоко
Серый, небритый, прокуренный полдень,
Кошки спешат на негоданный полдник,
Тучи лакают из лужи. В платок

Серый, пуховый, закутана площадь,
И не продраться в маршрутки. Пешком,
Гамбургер запивая «Снежком»,
Тащит домой первоклассник пятёрки.

Странная оторопь стаю грачих
Вдруг пригвоздила к больничному саду,
И неотложка прилипла к надсаду
Белой лепнины. Закутанный в стих

Лист пролетает над крышей роддома.
Плач из окна. И запахло соломой,
Хлеб с молоком. Кто-то вышел из дома,
Чтобы успеть на поклон...

ОЛЕТ

БЕСПАЛЬТО

Кто слышал ноги времени,
Кто видел уши дерева —
Старинными поверьями
Наполнена земля.

По бесконечной прерии
И ледяному северу
Бежит, шагов не меряя,
Число календаря.

И тикая по обществу,
И тикая по личности,
Всё бесконечно крошится
И заново растёт.
Но не спасают новшества
И не пойдут вторичности;
Рассвет в зелёной рощице,
Затем наоборот.

Как седина младенчества
И недержанье старости
Со временем излечится,
Известно даже как.
Во славу, за отечество,
Или лихие градусы
Почило человечество
Под звонкое тик-так.

Пытались в ногу ровненько,
Выходит как-то кривенько.
Ни Васенька, ни Коленька
Не могут ритм держать.
Кургузая моторика,
Испорченная психика,
И тут решают Коленек
К лечению принуждать.

А может лучше тормозом
С глобальным запозданием:

Уже несут под образом,
А ты ещё живой.
Ан нет, родился — в борозду;
Жизнь в зале ожидания —
Вот окончанье поезда
И время на покой.

На кой покой бездейственный,
На кой такой таинственный,
Так неопратно девственный
В разодранных штанах.
Необходимость бедствия,
Необратимость истины —
Впадает старость в детство и
Лечение на местах.

Так, может, ноги времени
Сломать, чтобы не топали,
Покуда в этой темени
Печаль не завелась.
Не то родятся Ленины,
Донцовы из Крыжополя,
Внедряя отчуждения
В полёте, мордой в грязь.

Когда «Тик-так» закончится,
«Кит-кат» засохнет вафелька,
И бесконечность в общество
Приедет на осле,
Чего тогда захочется?
Большим не станет махонький —
Крылатые пророчества
На взлётной полосе.

Безвременно почившие,
Со временем забытые,
Стареют рощи Пришвина
И много ещё что.
Мы в этом мире лишние,
Давно уже зарытые.
Лежу себе под вишнями
И мёрзну. Беспальто.



**C
L
E
C
L
E**




ЗАРЕЧНЫЙ

ТАТЬЯНА КАДНИКОВА

В апрельском Заречном ирисы, крокусы,
Как бабочки, сели на клумбы голые.
Гляди-ка: солдатик, не требуя пропуска,
Впускает в город мышонка весёлого.
А в парке школьники — замороженные —
К ЕГЭ готовятся... только парами!
Сирень салют выпускает почками,
Ольха серёжки свои — петардами.
Лавчонку у дома нагрели бабушки.
Представь, обсуждают романы амурные!
А над домами стрижи да ласточки
Свой пилотаж подтверждают фигурами.
Виляют тучи хвостами-колечками,
К упряжке бочку с грозой приладили.
Весна приходит в наш мир из Заречного,
Как Дед Мороз — из далёкой Лапландии.

Жизнь провести в этом маленьком городе,
Будто в уютной и маленькой комнате,
Глядя в мозаику окон напротив.
А в небесах — голубой вертолётник.
Город в местечке, где солнце назойливо,
Елей раскинул — с оборками — зонтики.
Он своим жителям видится раем,
В бешеной жизни — крылечком парадным.
Кто устелил его тропочки листьями,



Чтоб любоваться красивыми мыслями?
Кто опустил на карниз мой балконный
Стайкой воробышков звон колокольный?
Стрелка часов здесь, большая, отколота...
Благословляя несуетность города,
Ходим мы в парк, где беседка заветная,
Чтобы сидеть в ней, влюбляясь в мгновение.

У лося не спросишь ни паспорт, ни пропуск,
И смело проходят они за «колючку».
Большущие лоси и малые ростом,
Бок о бок идут они, словно за ручку.
И хочется им всем лосиным семейством —
Раз город культурный и отдых такой же —
У нас во дворе посидеть на скамейке,
Снежинки заречные чувствуя кожей.
И тут же, свою осознав неуклюжесть —
Как будто платформы, большие копыта,
Они в куст рябины заходят на ужин,
Съедая гостинчики — с жара и пыла.
По делу ли прибыли — вот это ребус! —
Иль просто позировать нам в телефонах?
Но лось никогда, как бегущий троллейбус,
Не изменяет дороге знакомой.
Мы с ними добреем и рады стараться,
Большого в себе обнаружив ребёнка.
Солдатик из бронзы грозитя им пальцем.
Не бойтесь! Солдат не обидит лосёнка.

АНИНА

КОРЖАВИНА

Зеленеет отраженье
Старого моста.
Всё — порыв и всё — движений
Суета.

Удивляет меня прелесть
Пасмурных небес.
Утро с воем рвётся через
Мрачный лес.

На деревьях вдоль дороги
Дремлют клочья сна.
Как же медленно под ноги
Катится весна...

А над соснами тишь.
Серебрится зима.
Этот город простишь.
Ты решала сама.

Через год, через век
Те же сосны стоят,
Так же падает снег.
Разве он виноват?

Зелёный мох, зелёный цвет,
Зелёный город мой.
Ты — колыбель моих побед,
Звенящий мой застой.

Ты мне так много обещал
И брал назад слова.
Ты золотил мою печаль,
Ты счастье раздавал.

А сколько плакала я здесь,
А сколько прочь рвалась!
Теперь расти придётся без
Всего, с чем я срослась.

Шепчутся листья,
Разбрызгались тени,
День золотистый
Сел на ступени.

Воздух был цвета
Наивного счастья,
Щедрого лета
Последней был частью.

ОЛЫГА

ПРАВДИНА

Заречный в июне

Заречный...

Вечера его тихи,
Бездонно небо
Над простором улиц.
Здесь кто-то пишет
О любви стихи,
Кому-то звёзды
В душу заглянули.
И здесь стоит
Сосновый лес стеной
И росы утром умывают
Травы,
И за кирпичной города
Спиной —
Березняки, осинники,
Дубравы.

И родники,
Журчащие в тиши,
Несущие прохладу
И блаженство,
И чистота
Российская души,
И красоты
Простое совершенство.
Заречный...
Занимается рассвет,
Проснулись птицы,
Покидают гнёзда,
И свет луны
Уже сошёл на нет,
И, не успев зажечься,
Гаснут звёзды.

ЕЛЕНА БАРИНОВА

Ну вот, говорят вам, курортная зона,
Где памятник Ленину дышит озонем,
Где всё так уютно и прянично мило,
Покуда есть время, здоровье и силы

Стучаться башкою в закрытые двери.
Я сам в этот город мучительно верю,
Я сам этим городом мог бы гордиться,
Когда б молодёжь не бежала в столицу!

Октябрь. Туман. В тумане фонари,
площадка детская, соседняя общага.
Всё сказано до нас. Мы повторим
бессмысленную жизнь без родины и флага.
Храня на память об СССР
коллекцию монет и школьных идеалов,
в конце концов вчерашний пионер
их сдаст в ломбард и всё начнёт с начала.
И будет, тыча пальчиком в букварь,
не видя букв, до самого восхода
бубнить: аптека, улица, фонарь...
Всё сказано до нас. И нет исхода.

Всю ночь шёл дождь. Болезненно-капризно
Прислушивались, морщась, облака,
Как по дрожащим клавишам карнизов
Стекала беспросветная тоска.

И мокрый ворон, сидя над балконом,
Всю ночь сосредоточенно следил,
Как в чёрные объятия бетона
Бросались капли с крашенных перил.

И утро было бледным и туманным,
И вымученно хмурился рассвет,
И спорили в подъезде: был ли пьяным
Повесившийся в эту ночь сосед?




АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ

На глубине фрагмента

Фотография — это поэзия мгновений. Мир никогда не застывает. Фотография фиксирует его пульсацию, помогает опуститься на глубину момента. Это разговор с предметами на их языке, уважение к ним, желание понять, о чём они. В моих работах практически нет людей, так как мне интересно, что есть предмет вне человеческого присутствия. Гравитация человека часто заглушает вещи. Здесь уместно

только молчаливое наблюдение. Невмешательство. При таких условиях калейдоскоп мира даёт увидеть узоры связей, композиции, составленные из случайностей. Глаз внимательного человека способен рассмотреть эти тонкие нити. Нужно постоянно всматриваться в привычное. Тогда оно раскрывается бабочкой спящих измерений. Наше замыленное повседневностью зрение не улавливает глуби-



ны, скользя по поверхности. Только терпеливый наблюдатель вознаграждается открытием внутреннего пространства, его согласием, приглашением к диалогу, но только на равных правах партнёрства. Я не занимаюсь документальной фотографией, портретной, пейзажной. Мои работы о композициях, которые мне даёт увидеть мир, а не о тех, что я сам бы создал.

Мой глаз и камера — лишь свидетели этих встреч с тайным. На некоторых работах я пытаюсь отойти от узнаваемости, фигуративности на максимальное расстояние, чтобы приблизиться к метафизическому, к пространству сущностей, заглянуть в пещеру Платона, чтобы прикоснуться к тому, что отбрасывает тени на стены.







рн: Александр Фролов











TOP-TIER-TECH







МАРГАРИТА АРДАШЕВА

Про буквы

Нога в коричневом, не слишком плотном носке быстро погружилась в глубину высокого кожаного ботинка. Мне показалось, что что-то отделилось от стопы, как отрывается кожа на мозолях. Лёгкий дискомфорт и холодок прошли, и я не стал терять время, а наспех, совершенно по-идиотски, завязал шнурки и вышел в подъезд.

Не хлопать дверью, не топтать громко, но и не шаркать, не разговаривать на лестнице — меня с детства приучили жить бесследно, беззвучно. Наверное, это хорошо.

До магазина, где я всегда покупаю букеты, в которых могут быть любые цветы, но обязательно есть эвкалиптовые веточки, идти минут пятнадцать. К середине пути руки замёрзли, я стал втискиваться в перчатки. От самых пальцев и до запястья кожа сморщилась, слегка зашелестела, и с моей кисти на за-

индеветый асфальт упали несколько букв. Ещё не понимая, что происходит и как к этому относиться, я подобрал их, как отскочившие пуговицы, и не глядя сунул в карман.

Ветпа по обыкновению не поцеловала, а чиркнула носом по моей щеке. Я потерял ещё пару букв. Как это можно объяснить, и почему оно ещё не объясняется? Широкая лестница, ведущая к площади, сплошь усыпана дубовыми, кленовыми и платановыми листьями. Может, это тоже буквы? Только зачем и кому адресованы? Или же смысла нет, воедино их не собрать? Туман садился на площадь медленно и вкрадчиво, будто «принося извинения жителям и гостям города за доставленные неудобства».

— А если купить на тысячу, в подарок дадут зонт. Хороший такой, бордовый.

— Ну, пойдём. Купим. — Я вдруг понял, что Ветпа всё это время говорила со мной, рас-

сказывала что-то, но услышал я только сейчас и даже не знал, за какими покупками мы идём.

Она вышла из торгового центра с зелёным бумажным пакетом и зонтом-тростью насыщенного клюквенного цвета. Я думаю, что среди постоянно сгущающегося тумана эти вещи мне показались ярче, чем они были на самом деле.

Хотелось тепла, но даже в квартире было сложно согреться. Сквозило. Не из окон. Скорее — из меня. Ощущение пустоты усиливалось с каждой потерянной буквой. А я продолжал их рассыпать. Буквы, буквы, буквы: они оставались на всём, к чему я прикасался, везде, где я был. На теле Веты, в её волосах, на подушках, простыне, в вырезе пододеяльника и на полу. Кое-где они цеплялись друг за друга, складываясь в слова. Я же когда-то произносил всё это, а теперь оно лежит и говорит со мной. Но ответить, в сущности, нечего.

Вета посмотрела на меня в упор. Хотела чего-то, ждала. Единственное, что у меня тогда осталось, — невысказанные, ещё не потерянные слова «я не люблю тебя».

Крыша, поезд и некультурная растительность

С крыши — хотя она и не крыша вовсе, а только асфальтированная площадка, высоко задранная над гаражами, — сквозь цветущие ветки вишни, вяза и алычи видно Ташлу. Не сказать, конечно, что этот пейзаж потрясает воображение. Более того, он относится к тем видам, какие особых отличительных черт не имеют и в памяти не остаются, как не остаётся в памяти каждая летучая мышь, пронёсшаяся над головой, и каждый комар, даже если он и впивался в пальцы.

— Важнее всего сейчас дождаться поезда, потому что только на поездах всё и держится. Жизнь цепляется за железные дороги одуванчиками и кошачьей мятой, мелкими ромашками и пастушьей сумкой. Самое удивительное, что огромная железная машина, хоть бы она и способна задавить человека, а эту жизнь не трогает. Наверное, потому что эта жизнь более правильная. Она не противится какой-то общей глобальной жизни, а существует

мирно и параллельно, — рассуждал облакообразный Аппаков, беспрестанно застёгивая и расстёгивая кнопки на синей рубашке в мелкий голубой треугольничек, издав издав смотревшийся горошком.

Шишига приложил к губам вымышленную трубку и через мгновение выпустил струйку дыма, самую взаправдашнюю. Вместе с ней в вечерней затхло-сти растворилась часть его соображений на счёт ж/д-центристской версии мироустройства Аппакова.

— От те! — только и смог выговорить Шишига.

Они тут сидели уже давно, но окружающие звуки были самыми природными, ничего не имеющими с транспортом. Никто мимо не ходил. Огромный светящийся шар поменял своё название, а вместе с ним и небо приобрело иной, тревожный и густой цвет. Ташла покрылась мелкими огоньками, сливающимися в огромного сияющего паука.

— Не будет поезда, — причмокивая обветренными лиловыми губами, заключил Шишига.

— Так не может быть, это противоестественно! — всхлипывал Аппаков.

Длинный и тощий Шишига легко вскочил на ноги и стал собирать пёстрые авоськи, на которых они расселись, а Аппаков неловко перетекал всей своей массой с одного бока на другой, пытаясь подняться.

— Поезд прибывает ко второму пути, — вдалеке объявила гнусавая женщина.

Товарищи бросили свой скарб и устремились к самым рельсам. Шишига прикрикивал и подгонял неуклюжего Аппакова, который неудачно плюхнулся с крыши в сырую траву, но они очутились у дороги, когда жёлтый глаз локомотива только показался из-за поворота.

Две нескладные фигуры радостно прыгали, визжали и махали руками машинисту. Поезд нёсся с такой скоростью, что кого другого убило бы потоками рассечённого железом воздуха, но на этот раз все остались невредимыми, потому что Аппаков в душе был душистым котовником, а Шишига — пустырником с белыми цветками на макушке.

рн: Александр Фролов



Тамара Христофоровна

В гимназии им. Леннона работает Тамара Христофоровна. Она даёт очень качественные и прочные знания: говорит детям, что она их математическая мать, а они — шаболды уличные. Когда Тамаре Христофоровне доводится совсем расчувствоваться, она добавляет, что чёрные колготки носят только проститутки. А как же быть с чулками и носками аналогичного цвета? Точных данных нет. Также доподлинно неизвестно, отчего Тамара Христофоровна настолько хорошо разбирается в проститутках. После подобных разговоров урочного времени остаётся от силы семь минут, за которые один из самых исполнительных учеников изображает мелом на электронной доске какое-нибудь непотребство: уравнение или, того хуже, логарифмическую функцию. Одна радость — с ошибкой.

Как только раздаётся звонок, толпа учеников с радостным воем и победным улюлюканием выносит запертую на два ключа дверь кабинета математики. Тамара Христофоровна



остаётся вершить мелкий ремонт и поливать цветы: пластмассовый фикус и засохшую герань. Ясное дело — занятие тщетное, но в школе все учителя что-то поливают. Отставать от коллектива здесь не принято.

Дома Христофоровна перестанет быть Тамарой по причине своей молодости и одиночного проживания. Несколько раз ученички выслеживали её и пытались разглядеть сквозь зашторенные окна педагогический быт — не вышло. Да и ни к чему им это. Обстановки в квартире мало, питается Христофоровна скудно — отварной курятиной и капустой. Это такая диета для поддержания обезжиренности организма. Зато в напитках наблюдается некоторое разнообразие: по чётным дням — виски, по нечётным — джин. И того и другого не более пятидесяти грамм. Для куражу.

Чуть стемнеет — Христофоровна сразу к зеркалу. Искусственную бороду приладит, чёрную трикотажную шапку натянет, солнцезащитные очки на пол-лица, и вот она уже не женщина, а вроде как ба-рабанщик. Сейчас такой почти в каждой рок-группе имеется,

а у кого другой — те не модные просто. Может статья, что, если с десяток драммеров в одну комнату согнать и перемешать, узнать, кто откуда, будет затруднительно.

В таком виде Христофоровна гуляет по вечерним улицам, иллюминацией любителю и представляет, что она только отыграла концерт. И её никто не узнаёт, и она — никого, только русский народный хардкор в голове.

13 апреля Тамара Христофоровна пришла на уроки особенно радостной: сегодня её любимая тема. После короткого монолога о математическом материнстве к доске был вызван Бóгдан.

— Отсюда берёшь с плюсом, а сюда переносишь с минусом, — приговаривала Христофоровна, стуча по доске указкой. — Ты понял, дубиняка?

— Понял, — басом отвечал Бóгдан.

Как и положено дубиняке, переносил он с плюсом. Тамара Христофоровна прокричалась и вознамерилась нарисовать Бóгдану в дневнике жирную двойку. Ни одна ручка, лежащая на столе, не оказалась



пригодной для исполнения замысла. Тогда Христофоровна полезла в шкафчик за красными стержнями. Поверх привычной канцелярии в ящике лежали барабанные палочки. Христофоровна взвизгнула, а дубиняка остался без пары.

Оставшиеся уроки прошли тихо и скучно. Ученички перешёптывались, пытаясь понять, что же такого стряслось с их Математерью, а она только изредка выдвигала ящик и любовалась находкой.

Едва Христофоровна успела переодеться в любимую чёрную пижаму, как в дверь безобразнейшим образом начали колотить.

— Хозяйка, вам тут доставка, распишитесь, — отрапортовал рыжий мужчина в зелёном форменном комбинезоне.

— Чего? — удивилась Христофоровна.

— Это вам виднее. Мужики, заноси!

Трое таких же рыжих парней втащили в квартиру несколько коробок, натоптали в коридоре и ушли по своим доставочным делам.

«Вдруг там бомба», — мелькнуло в голове у Христофоровны, но вскоре эта мысль показалась ей несостоятельной:

слишком большие габариты. Что бы ни оказалось внутри, а убрать за грузчиками необходимо. Нельзя же жить с комьями грязи под порогом! Христофоровна схватилась за тряпку, но по причине некоторой своей неловкости боком задела одну из коробок. Тут же раздался приглушённый медный звон, который ни с чем невозможно перепутать.

Спустя пару часов возни с инструкцией по сборке посреди комнаты Христофоровны расположилась барабанная установка.

С 14 апреля в гимназии им. Леннона появилась вакансия учителя математики: целых 30 часов в неделю. Устраивайся, кто хочет. А Тамару Христофоровну больше никто не видел. Сведущие в музыке люди долго обсуждали, что в одной известной группе новый крутой ударник. Вроде как Христо зовут. Но кто же знает, откуда они берутся?

Не всякая рыба...

«Не всякая рыба может стать ихтиологом», — вывел Паровозников аккуратным, но страшно некрасивым почерком. Табличку с этой надписью он повесил над аквариумом, чтобы не зазнавались. По правде говоря, ни барбусы, ни меченосцы о научной карьере не помышляли. Возможно, птеригоплихт имеет какие-то амбиции, уж больно скрытный, но он не высовывается — помалкивает.

Жена Паровозникова, профессор Колбасникова, сооружает обед. В огромной алюминиевой кастрюле плавает целый кочан капусты, кривая морковина, подосиновик и говяжье копыто. «Мда-а-а... — подумал Паровозников, — не всякая профессора разбирается в щах».

В университете сегодня выдают цветные картонки: в основном синие, но попадаются и красные. Празднество простирается во дворе. Паровозникова с другими преподавателями усадили на пластмассовые стулья. Сыплет дождь, комары стадами шастают.

— Самолёты падают, заводы не работают, в магазинах дрянь продаётся, — завела поздравительную речь ректориня, — а всё из-за того, что профессионалов нет.

И так она, в полосатых клоунских штанах и с рыжей паклей волос, распиналась около часа, а затем маленький пузатый проректор в пижаме всунул каждому студенту в руки по картонке.

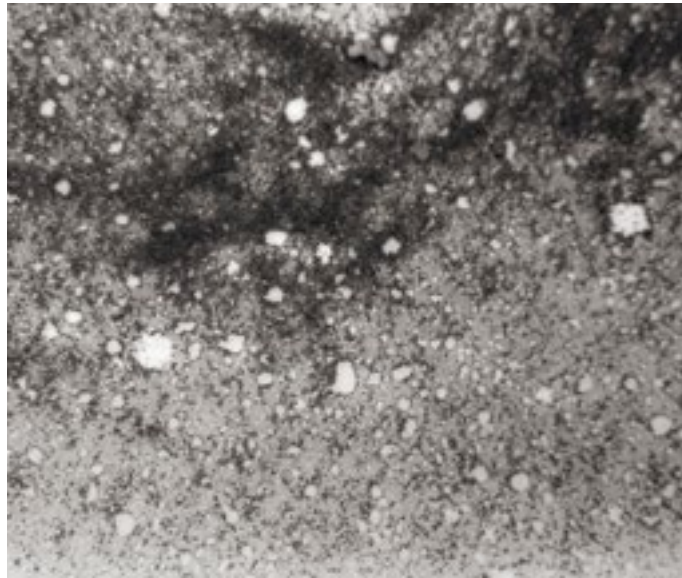
— Кра-а-ай приво-о-ольный, кра-а-ай раздо-о-ольный, — фальшиво затянул хор.

«Всяк по-своему с ума сходит», — подумал Паровозников, покидая торжество.

Вечером Паровозников долго зрил в глубь аквариума и понял, что эти, да-да, вот эти в мелкую чешуйку весь день рефлексировали: казалось, даже вода немного сгустилась от напряжённой работы рыбьей мысли. «Если уж вы так этого хотите — будьте! Чёрт с вами!» — провозгласил Паровозников, снял со стены табличку и лёг спать.



рп: Анна Рябова



АНАСТАСИЯ СТИВАК

Запись о звуке му

Пока в упор наблюдаешь, мнится: война случайна.
Дом твой — крепость твоя; дымится уютный чайник,
и вот обсуждаем и улыбаемся, и мимо цокает время —
длинная грива его темна, как детское темя,
мягкое темя.

Лают в окно собаки. Дома, как подростки, стоят, глухие.
Но близится отзвук боя, и вот наше время уже — стихия,
и смерть скользит и сияет — лезвийный луч, еле видный стык,
в который плюхаешься копытом, виснешь пикселем пустоты
между постами в твиттере, между подошвою и землёю.

Пока не отводишь взгляда, кажется: выдержу, успокою.
Чаинки светятся, кувыркаются; войс вырастает из телефона;
с уснувшей ракетной базы боевые летят драконы;
девочка-кришнаитка, передознувшись на шантараме,
челомкается с нью-эйджем избитыми ищущими губами.
Куда оно, да куда, да пакет возьми — всё не покупать,
и сжимаешь его в кулаке, и ты весь — кулак с головы до пят
с заповедью железной: набрать крупы, не схватить фастфуда.

А стоит голову сдвинуть — и хаос повалится ниоткуда.
Бабушки знают всё, несут в авоськах свои «поэтому»,
дзенский пакет с пустотой, с шаманами, брахманами, поэтами.
Оно просвечивает, выкрикивает, как уши ни зажимай:
позолоченная теология, свят-свят, ом намах шивай,
и как бы ни хорошо было, боже мой, просто и хорошо,
расстёгивается плащ — пустомодерн оставляет нас голышом.

И как бы ни было плохо, должно наконец-то стать хорошо.
Когда ни руки, ни глаза не бдит за тем, чтоб с меня ни волоса,

смеётся пылкая смерть, говорит без слов назорейским голосом,
пирамида рождает огонь, земля из куба встаёт, пустая,
а человека ничто рождает, ничто не рождает.

И ничего не случится: птица в окна влетит за птицею,
но исчисление вышло, но в ножны вложена ауспиция,
и вот обсуждаем и улыбаемся, и мясо съедают с лиц
клювы яростных ангелов, нежный огонь зарниц.

Не страшно

мерный шаг не остановишь.
шесть. тринадцать. девятнадцать.
укачай своих чудовищ,
чтобы больше не бояться.

кто бесстрашен, тот спасётся.
уйди, как зверь, наружу,
так идут лицом на солнце
в огневой бездонный ужас.

от себя не отвертеться,
пусть ведёт тебя, как парус,
это внутреннее детство,
эта трепетная ярость.

обрывая человечность,
застегни себя, как куртку,
в рюкзаке неся заплечном
философию абсурда.

ветра вкус — ментол и горечь —
будто перечная мята.
сердце бога рухнет в город
красным яблоком заката.

сквозь огромный мир крошечный
пронеси комочком света
эту спрятанную нежность,
этот безпризорный ветер.

о, какая это радость,
как клинок в разрыве влажном:
никого тебе не надо,
ничего тебе не страшно.

Майское для Шуминой

сначала — предвесеннее. окружность
очерчена хрустящей белизной,
и ты стоишь — укутанной, наружной —
и ждёшь, пока мороз в лицо лизнёт.

истаивает медленно. над мартом
стеклянные игрушки — люли-лю,
и детской ручонкой, снегом смятым
всё говорит: люблю тебя, люблю.

апрель передаёт тебя, как символ,
завёрнутую в дутой пуховик,
ты чувствуешь невидимую силу,
к которой не любой титан привык.

застёгнутая, жди: минутой позже,
когда тебя родит бродяга-май,
счищай кипучий сок с прозрачной кожи
и лишние слои с себя снимай.

а ну пробьётся солнце наконец-то,
пойдёт по красным крышам телепать.
вне глубины культурного контекста
идёт-гудёт нетрезвая толпа,

когда отмоет липкое, живое,
останется хрустальный человек,
он тоненькую песенку провозит
и ринется по солнечной траве.

и это время — страшное, большое —
останется зиянием для нас.
сиреневого мая нежный воин —
и бурная, звенящая весна.

но — крепнет льдом прозрачная vertebra,
живых волос колюче лезет ость.
вода зимой белеет и твердеет,
как в гипсе прорастающая кость.

На замке

Я застёгиваюсь под горло, и тогда утихает страх.
Я сама себе дочь и мама, подруга и медсестра.
Опускаю железный занавес, отпускаюсь на перекур,
Пытаюсь нырнуть обратно — и застываю на берегу.

Мой корявый автопортрет удваивает лицо.
Я становлюсь социально приемлемой: улыбчивым продавцом,
Охрененной девчонкой в платье, бессильным куском добра,
Многорукой индийской матерью, удерживающей брак.

Осторожное «ты в порядке?» табуировано, как секс.
Я молчу, что внутри толкается маловодный горячий текст.
Я сжимаю в кулак ключи, поглуше задёргиваю чадру
И стараюсь не околдовываться тревожащим словом «друг».

Я хотела бы с этой решимостью обняться и переспать.
Кто умел выносить из огня, но дотлеп где-то в папке «спам»?
Как держаться, не прикасаясь, как спастись без МЧС,
Если, тьмой волчицей скалясь, подступает голодный лес?

Я держу два ножа и нежного лебедя в рукаве.
Змеевидной блестя застёжкой, доверчивый лезет свет.
Зарисуй, отфотографируй, на стенку влепи плакат,
Как на ищущий тремор пальцев наталкивается рука.

Сиамца ополовиненного горячим ножом отнять.
Ты — сенсорное голодание, зеркалящее меня.

...Я дотрагиваюсь до пальцев, насмерть заучивая теплоту.
Застёгиваюсь под горло.
Докуриваю.
И иду.

Баюшки

Младенка ловит губами мокрый и сладкий сосок —
и визжит, визжит.
Ей бы так и продолжить — лысой, кричащей, босой,
но судьба — изжить,
покрыться одеждой, надеждой, косами, трескотнёй,
золотым огнём.
Не пить молока. Становиться для матери ласково-неродной.
Не жалеть о том.
А сейчас хватает, несёт в кулачках погремушный гром
и боится вся,
для неё сейчас руки-в-которых — опора, земля и дом,
защитить и взять.
У неё голубая огромная пропасть вокруг зрачка
значит ничего,
а «чего» возникнет с первого пьяного дурака —
задохнись и взвой.
А найди ту грань, когда начинается циферное «когда»
беготнёй страниц.
Так боса и лыса — и вот всё разъяла на «нет» и «да».
Здесь и развернись.
Потягушки ручками-ножками, безответственное оно,
чудесатый эльф,
потолок в звезду, крылья туго спелёнуты за спиной,
патефон, Фрезель.
Вертикальной тропой — здравствуй, свет — остановите ум —
я с него сойду.
Бог тетёшкает, вторишь: агу, люли-лю, омманипемехум,
ой да ай-ду-ду.
И спишь, как дитя, в игривом вздрагивающем свету.

Цветение

1

Вот
телега, упёршаяся копытом в суглинок,
прядает соломенными ушами;

вот

из мышиноного лица выходят воздух и хруст,
а из спины, надгорбившись,
восходит кошачья статуя;

вот

длинная линия аиста-сына,
удаляющегося по реке,
и короткая, безвидной тенью над берегом, —
аиста-отца;

вот

воспряла и разогнулась,
танцую,
и осыпались золотые частицы,
и выбросилась мёртвыми рыбёшками из ведра
на склонённую её
быстрая прорубь;
вот, одесную,
поднимается человек с веткой в руке,
зажимая цветок суфийского слова
в точке светлого рта.

2

Се — сентября
сухой стук;
дерева —
о само себя.

Се — лодка бодает
приподнятый песок,
поддерживается под живот
матерью купающей.

Се — крошево спелого дня;
стареющий клин коричневый
летит по косо́й на солнце.

Баечка

Сказка, как монстр, идёт по пятам за слабыми:
Третьими братьями, зайньками, лошадками.
Нетерпеливая, переступает лапами,
Силится вычурять мягонькую свежатинку.

Стоит в простор отпустить сироту казанскую,
Вывезти в лес потемну́ дурака-царевича —
Дышит в лопатки безвидное, несказанное:
«А шевельнись да повыпендрись мне теперича».

Сразу повалится всякая людоедина,
Волк-говорун, кот-компот, чернота безлунная,
Или сама подползёт к тебе, чудо-юдина,
Вскинет себе на клычок и сжует, не думая.

Сколько их было, Алён-Василис блуждающих,
Ищущих молодца ладного да булатного.
Сказка смеётся: и выдумают ведь. Знаешь ли,
Сказка вам и не должна ничего приятного.

Колыбельная

Неутолимая духа вспыхнет в тебе,
младенец,
с первого
ударившего в лицо прожекторного луча.
Ты высунешься наружу
из окровавленных полотенец
и поплывёшь в белизну,
смерть за собой волоча.

Сначала она змеится неслышным шлейфом,
потом,
как становишься выше,
едва задевает пол,
обминает стылую грудь,
опустошённую слева,
делит с тобой квартиру,
садится с тобой за стол.

Я вижу её чуть чаще —
она почти ко мне подлетела.
Закрой лицо одеялом,
пока я в губы целуюсь с ней.
Я вошкаюсь возле тебя
беспомощным
детским и взрослым телом
с несовершенной любовью,
глупой любовью моей.

Ваа-баа

Приносят её с ногами, стянутыми, как петрушка,
Вот, говорят, на закланье, Ивановне там, Петровне.
Кудрявая, как еврейчик, подкромсанная неровно,
А на неё бросают: уберите, её нам не нужно.

Мы её не просили, говорят, мы пока не голодные,
Мы заняты чисткой конюшен, разнузданными животными,
Пыточными там, эшафотами, крючьями да колодками.
А покажите-ка зубы её. Покажите живот её.

Овечка мягкая блеет: ба-бу-бы, добрую, сенокосную, мятную,
Как индийцы с глазами овечьими, травоядную,
Чтоб гладила и заплетала, кормила ромашковыми пирожками,
Ужели таких, беззащитных и безобидных, больше и не рожают?
Вот это овечку и огорчает, и поражает.

И она вытягивает губу, стоит, багровая, под покровом,
Стягиваешь белый оренбургский платок с неё — а там сердце мясное,
Так пастушок один думал, что волк там здоровый,
Круторогий марал суровый,
А там замирает она, красная без одежды, и так снова и снова.

Привязывают её за щиколку, говорят: погоди, мол,
Сейчас всё закончится, сейчас не будешь мучиться невредимой,
Несут её вниз башкою — у темени плещется сладкая зелень.
Она покачивается и думает:
Боже, ну только бы съели уже.
Только бы съели.

НИКИТА

ДОРОФЕЕВ

Точный прицел неясити, выпустив норную полевую,
Ставит красную точку и вслед за ней запятую
Когтя в певчее горло, в кадык пернатый.
Разница между абсциссой и ординатой.

Это движенье в штопорах и кульбитах.
В проводе замотавшийся вдох-и-выдох.
Это бездвижность, кожность, блаженность ломких.
Крупная дрожь в сердцах, головах и лёгких.

Сок надкушенной плотной ткани, бессильной речи.
Краткое время бога, как перед ним, — Предтечи.
Хранящая цвет воды, корабля, матроса,
Мёртвая рыба под лопастью альбатроса.

Иштар

Где бьётся огонь свечной,
Где воздух висит наждачный,
Здесь, в этой пучине злачной,
Из чёрной дыры ночной
Беззвучен твой шаг, Иштар.
Ты в смертный нисходишь разум
И сахарный пьёшь нектар,
И смотришь павлиньим глазом...
До капельки, до глотка
Пружинкою хоботка
Ты цедишь, как сладкий вермут,
Прозрачную кровь цветка...
Теперь ты ему сродни,

Вспорхни, как на кончик нерва, —
Дотронься, услышь, вдохни,
И сразу же станешь смертна.
Здесь бьётся огонь сквозь воск
В ночь боли, любви и смеха.
Мир хрупок, как ломкий мозг
В сухой скорлупе ореха...
Ты — времени тонкий шрам,
Сомнамбула, привиденье.
Ветрам, городам, кострам,
Локаторам на съеденье...
Из чёрной дыры ночной —
В бессонный огонь свечной,
В безумный пожар сердечный,
В прожорливый дым печной...
Каким из двоих, Иштар,
Не пренебрежешь ты светом,
Лишь твой абсолютный дар
Бессмертен на том и этом...

Блюз о горошине

Дорогая, пока под периной горошины нет — поспи.
Сон — великое дело, тем паче в охоте на VIP.
Женихи тут и там распускаются пачками по весне.
Где ещё собирать их в гербарий, как не во сне!
Обнажённые мавры по струнке встают по команде «Стройсь!»,
И лакей у парадной картаво скандирует: «Ваш роллс-ройс!».
Ты ещё не готова — ты медлишь в халате и бигуди.
И лениво выходишь из спальни — прекрасна, как леди Ди.
На роллс-ройсе строенье из ленточек и колец.
Супермен в белом фраке ведёт тебя под венец.
Ты под стать супермену — ни дать и ни взять — княжна!
Ночи ярче и слаще, пока их тысяча и одна.
Ты плывёшь по Бродвею в шикарном своём пальто
В карамельный бомонд, где не любит тебя никто.

Никогда. Потому что снобы все и ханжи.
Старый нищий нигер с весёлым лицом Ходжи
Насреддина, у прохожих, так сказать, на виду,
На губной гармошке играет блюз за еду.
И о чём-то несбыточном гармошка его пищит.
Ты глядишь на него, и срывается с губ: «Deep Shit!»
Он встаёт, потрясая мелочью в сюртуке,
И с довольным видом к закату катит на ишаке.

НГ

Конец главы. Старик Минувший год
Испустит дух, и хвойно-мандаринный
Грудной младенец, перенявший душу
И титул, — унаследует и Землю.
Дрожит секундная. Мигает золочёный
Вольфрам в стекле, и стая белых мошек,
Конечно, реагирует на свет.
На кухне буйство запахов. Коты
Охотятся на курицу в подливке.
Ночь тянет через трубочку коктейль,
Покачивая ножкой под столом.
И к пузырькам шампанского в носу
Подмешан колкий запах авантюры.
Родители целуются, и вот —
Бьёт сердце колокольное в курантах.
И в форточку влетает Новый год,
Такой же ослепительный, как в детстве.

Том ждёт

Том ждёт. Долго держит паузу, допивает виски.
Стреляет скрипучим кашлем в чужих и близких,
и, гильзу улыбки в зрительный зал роняя,
ставит пустой стакан на капот рояля.

Благодарит пришедших за ожиданье,
как бы нехотя вставляет ключ зажигания,
поправляет в зеркале отраженье,
и рояль начинает своё движенье.
Том, разумеется, пьян, он ведёт не в ритм.
Лицу его приятнее быть небритым.
Голосу, пальцам, душе его так дрожится,
что мокрый асфальт едва под рояль ложится.
Так он выходит из дома, из нас, из себя, из моды.
Из времени, тела, своей лошадиной морды.
Рояль на полном ходу. Яркий свет, стена.
Кульминация. Кода. Молчанье. Тишина.

Резюме

Пол, день и год рождения, Ф. И. О.
В графе о достижениях — жирный прочерк.
Стихи умею делать из всего —
Из жалости, из вредности и прочих.
Из воздуха, из мухи и слона,
Из ржавчины, из мрамора, из глины,
Из волка, из барана, из руна,
Из брошенного женщиной мужчины.
Из тиканья часовнего, из брызг
Разбитой чашки, скуренного лета,
Из мебели, которую изгрыз
Голодный пёс. Из мятого билета
В кармане брюк. Из линий на руке,
Из запаха и пены капучинной,
Из вычеркнутых строк в черновике
И женщины, оставленной мужчиной.
Из простыней, из приоткрытых глаз,
Из памяти крыла в пере и пухе.
Из воздуха, в котором, как Пегас,
Летает слон из лучшей в мире мухи.

Карл

Город шатался, будто бы недобрился,
Будто набрался, нужного недобрав.
Карл закосил под Лунтика и родился
(Позже, конечно, понял, что был не прав).
Тело немного жало, но всё же жило.
Он понимал, что всё ещё эмбрион.
Только уже росло в одном месте шило.
А в другом — шарашил тестостерон.
Рано начал ходить. Куда надо, какал.
Был слегка нерешителен и раним,
Только при этом Карл никогда не плакал.
Поскольку он был ещё Фридрих Иероним.
С юности был мечтателем и не нравился.
Бургерам, блогерам, хипстерам, местным менторам.
Слишком уж у него как-то против правил всё.
Очень уж неудобным был элементом.
Употребляя спирт и иные вина,
Сделался нелюдимее и лютей.
Где-то надыбал полено, назвал Полина,
Научил говорить, ходить и рожать детей.
Много читал, писал, играл на гитаре.
Мух отпускал на волю, а не карал.
Заезжал по пьяни к какой-то Кларе.
Играл на кларнете, но ничего не крал.
Верил в эффект мечты, как в эффект плацебо.
Сам разводил цветы или плёл кашпо.
Всё больше пил, лежал и глядел на небо,
Больше и неспособен был ни на что.
Тот самый Карл. Так его и прозвали.
Карл с непростым и чуждым таким нутром.
Люди глядели вслед ему и кивали:
Чё это он всё с лестницей и с ядром?



АЛИНА

ГРЕБЕШКОВА

Хар

И пришла осень. И дожди засверкали слезами в побуревшей траве, и небесные путники, собрав пожитки, полетели семьями в жаркие стороны света.

— Птицы летают слишком низко. Дождь пойдёт. В этом году ранняя осень. Как у Пушкина, буря мглою... А, нет, это про зиму. Ну да ладно.

— Послушай, пишут, что в одном селении лев загрыз четверых детей, когда они шли в школу в соседней деревне. Лев был пойман и четвертован как нарушитель правопорядка. Не знаю, кого больше жаль в этой житейской истории, то ли детишек, то ли льва. Как хорошо, что у нас их нет.

— Детей или львов?

— Птицы низко летают. Дождь пойдёт. В этом году осень что-то быстро прибежала. Что ты сказал?

— Дети или львы?

— Смешной ты. Конечно, дети.

И пошёл дождь, и солнце скрылось за облаками, и смеялись нерождённые дети в их глазах,

и гром прокричал в небе: «Пусть солнце уходит и не возвращается». И вышло солнце и молвило: «Гром, ты злой, и не победить тебе никогда, ибо злость убивает изнутри, и умрёшь ты, когда съест она твои внутренности, и падёшь ты поверженный». На что гром рассмеялся и пожрал солнце. Правила осени.

— Дождь прошёл.

— Дождь прошёл.

— Как день прошёл?

— Соседи резали свинью, её крик стоял на всю округу. Каждая тварь хочет, чтобы услышали её последнее слово на земле. Какой воздух после дождя! Смотри, как река разлилась. В прошлом году в такое наводнение у соседней корова поплыла в море. Говорят, что она теперь живёт на острове и встречает проплывающих радостным рёвом, а может, брешут.

— Да.

Она вышла из дома, а он вышел из себя.

«Вечно она меня не слушает». «Вечно он меня не слушает»... И солнце победило тучи, и гроздь слёз лежали на мокрой пожелтевшей от времени листве. И было это так, и есть это так во веки веков. Ибо даже богам неподвластно солнце, ибо солнце — это вождь мирового порядка.

Марена зашла в дом. Принесла молоко — тридцать два рубля, хлеб — двадцать пять рублей, рис — тридцать пять рублей. Соседи подарили пять красных наливных яблок. Разложила на столе своё богатство и улыбнулась. Ужин на сегодня готов.

— Ужин готов, — сказала она через полчаса Виктору.

Он молчал.

— Что-то случилось?

Он молчал.

И подул ветер, и зашаталась хижина.

— Ветер разыгрался не на шутку, что-то случится!

— Глупости, это всё бабские глупости. Завтра пойдём собирать выброшенную на берег рыбу. Ты приготовишь уху.

— В этом году рыба умирает. Её нельзя есть. Старики говорят, по погосту ходит чёрная тень, собирает души умерших и ведёт

их за руки в реку купаться, оттого больна река. А в последнее время разыгрались покойнички, взбаламутили воду, и пошло от них наводнение. Ещё моя бабушка говорила, что не будет счастья там, где нет гор, а есть только горе.

— Глупости. Это всё бабские глупости. Ты должна слушать меня. Ты слушаешь меня, женщина?

— Я слушаю тебя, мужчина, что ты хочешь от меня?

— Завтра ты уйдёшь из этого дома. Я же приведу на наше супружеское ложе молодую женщину, и родит она мне сына, и продолжится род мой, ибо не можешь ты выполнить своё предназначение и не можешь ты называться женщиной.

— Ты волен делать всё, что захочется тебе, ибо Бог создал меня из ребра твоего и греховна плоть моя, познавшая плод из райского сада.

— Рис в этот раз подгорел...

В хижине песок оставлял неизгладимые следы времени. Стул шатался от тяжести тела Виктора, когда он чинил на следующее утро прохудившуюся корзину для рыбы. Шатались и нервы мужчины. Сорок два года, а уже старик. Не пощадило время и Марену, в её морщинках каждодневный

труд рисовал заливчатские узоры, будто танцевал на свадьбе сводной сестры, которую удалось наконец спровадить замуж.

Марена опять пошла к соседям за молоком, хлебом и рисом. Соседи были богатые и держали небольшой деревенский магазин. С Колькой, хозяином, она училась тридцать лет назад в одном классе. Ходил слух, что он к ней свататься приедет. Но проехал он мимо её дома, вышла Машка за Кольку, а Марена — за Виктора.

— Как живёшь, Марена?

— Хорошо, Коль. Муж вот из дома выгоняет. Говорит, что нерадивая и уродливая. У тебя что нового?

— Уезжаем в город к детям. Магазин закрываем. Можешь жить в нём, заодно и приглядишь, чтобы окна не выбили.

— Нет.

— Как знаешь. Время не щадит никого. И тебя не пощадит никто.

— Про погост слышал?

— Уезжают все из деревни, беги и ты, пока не поздно. Не успеешь оглянуться, проклянут тебя и сожрут.

— Смешной ты. Слабый. Жить хочешь. Каждая тварь жить хочет. А вот меня замуж не позвал. Вода у тебя в глазах и песок.

— Давно это было. С тебя девяносто два рубля.

Рыбы, выброшенные на берег, разлагались на солнце. Черви прочертили в них норы. Рыба пахла гарью. В их глазах отражалось... Ничего не отражалось. Пустота. Марена попробовала раскусить это слово, но оно отскакивало от нёба и застревало в речных камнях. В Горевом в очередной раз резали свинью. Та кричала. Протяжно. Гулко. Навзрыд. Поодаль от Марены, сложившись углом, стоял Виктор, силясь выбрать в ворохе гнили пригодную для пищи рыбу.

Возле берега появилась лодка. Из неё, потягиваясь, вышли мужчины. Двое.

— Как улов, Марена? — спросил обладатель хриплого голоса, выдаваясь вперёд большим животом. Почерневшее лицо. На вид ему можно было дать и тридцать, и пятьдесят лет. Суровый взгляд, кривая улыбка.

— Как сам видишь. Рыба нашла пузом камни. Она теперь не принадлежит нам. Покойники танцуют, рыба бежит; так всегда было, когда ждали горе, так всегда было, когда люди забывали, кто они.

Маленький, щупленький и лысоватый старичок засмеялся:

— Ты прям, как Аглая-покойница, упаси Бог её душу, загадками вещаешь.

— Может, и мне от неё что-то перешло, я у неё любимая внучка была. Она всегда говорила: «Гнилое это место, Марена. И люди гнилые».

Женщина посмотрела на Виктора, на деда Игната и на Василия. Почему-то подумалось: «Смешные они и наивные, как дети. Ничего не знают. Ничего не видят». Но вслух не сказала. Промолчала.

— Аглая пустого не болтала. Помню, лет десять назад, прям перед её смертью, встретились. Вперилась в меня бабка и говорит: «Игнат, уезжай, плохо будет». А куда мне уезжать? Дети выросли, внуки уже сами семейные. Кому я нужен, старый мерин.

Второй мужчина, молчавший всё время, почесав пузо, вступил в разговор:

— Она перед смертью вдоль берега ходила, сам видел, дом у меня, сами знаете, на краю стоит. В деревне тогда поговаривали, что прокляла она реку и людей прокляла.

— Врут сплетники. От нас же, гнилушек, очищала. Довела себя бабка. Так заживо от черни

и сгорела. На одре сказала мне: «Марена, гниль из речки не уйдёт, пока в душах человеческих сидит, и до тех пор не знать Горевому счастья».

— А что такое счастье, Марена? — спросил старичок Игнат. Сам же и ответил: — Счастье, когда коленки не зудят и картошка на столе стоит.

Все посмеялись, потом помолчали.

— Виктор у тебя домой направился. А ты что это? Не сидела бы ты тут, беду на себя не кликала.

— Некуда мне податься, дед Игнат. Виктор молодую в дом берёт.

— Что делается-то, эх-ма... Сама знаешь, взял бы к себе жить, да не принято от живого мужа в другие руки переходить, камнями закидают. Ты теперь выброшенная на берег рыба. Василий, запрягай коней.

И уплыли они. Женщина махала им вслед платком и улыбалась, а про себя ревела. Что делать? Куда податься? Родителей у Марены не было, вырастила её бабка Аглая в одиночку. Потом прислал сватов Виктор, а потом жили они долго, но как-то несчастливо. Детей не было. Муж говорил, что это всё Марена виновата. А скоро

зима. А он её выгнал. По деревенским законам выгнанная жена приравнивалась к чуме, вот даже дед Игнат с Васькой поспешили уехать. И пришла Марене мысль в голову: «А что если...». Но тут же отбросила от себя её подальше, от греха, как говорится.

И солнце закатилось, а потом выкатилось. И так несколько раз, когда первый снежок окутал кроны скрюченных и почерневших деревьев, а утренний лёд извилистым узором сковывал стены скромного жилища заблудившейся среди людей женщины. Злости не было. Как ругаться на порядок, установленный предками? Закон на то и закон, чтобы его соблюдали, каким бы глупым или жестоким он ни казался. Так пришла к Марене её первая одинокая зима. По утрам она часто находила возле своего шалашика из еловых веток, выложенного внутри тряпками и прочим мусором, найденным возле домов сельчан, какие-то остатки ужина или одежду, принесённую человеческой жалостью. Только раз приходил к ней Виктор, однажды являлась и Тамара, новая жена его. Домой не звали, ничего не сулили. За советом шли. Мужу Марена посоветовала больше не прихо-

дить к ней и сердце не беречь рассказами о молодой и красивой, а Тамаре — что Виктору готовить и как в постели себя вести. Больше девушка не приходила. Да и не по-человечески это. Дабы птицам — тепло, человеку — тепло, траве — сон. А Маре... А Марене — распад. Ибо говорят, что не проходит бесследно житейское возле той речки, которую в народе прозвали Гнилушкой.

И снится кому-то, что лежит он в тесной-тесной хижине. А кто-то стучится в окно и просится. И страх такой нападает в этот момент. И говорит человек: «Нет никого». А ему вопрос: «А куда все делись?» — «На погост ушли. Хоронят кого-то». — «Врёшь, без меня не хоронят никогда. Хаг я. Без Хага не хоронят».

И чудится, что в Горевом огни не горят и люди не спят. Ждут все. А чего ждут, никому не известно. И вдруг со стороны реки пошла стена света, такая, будто лес горел, только свет другой — ледяной, холодный, искрящийся, но живой. И кто в окно смотрел, того тот свет слепил, и падал человек. А потом пропал свет. И пошёл свист. И кто слышал свист, тот падал и больше не вставал. Попрятались все кто куда. И прошёл свист, будто

и не было. И тут все поняли, что это не конец. Никто не дышит. И пришёл Хаг — существо доселе невиданное, и почему-то поняли все, что это река его воспитала и выкормила. Ибо только гниль могла породить такое чудовище: неосязаемое, но гнетущее своим присутствием. Чудится, что тянет свои длинные лапы в окна, трогает детей, а те от прикосновений начинают задыхаться. И ещё мгновение — и не останется в Горевом ни одного ребёнка. Плесень и смрад захватили деревню: щепки летят от домов, деревья скрючились и попадали, скотина в страхе ревёт.

И никто не знал, сколько времени это длилось и сколько ещё будет длиться. И вдруг появилась Марена. Но будто и не она — лицо вытянулось, а в глазах огонь, но не ледяной, а горячий, как в печи деревенской.

— Что ты хочешь, Хаг?

— Я за сыном пришёл, — молвило существо.

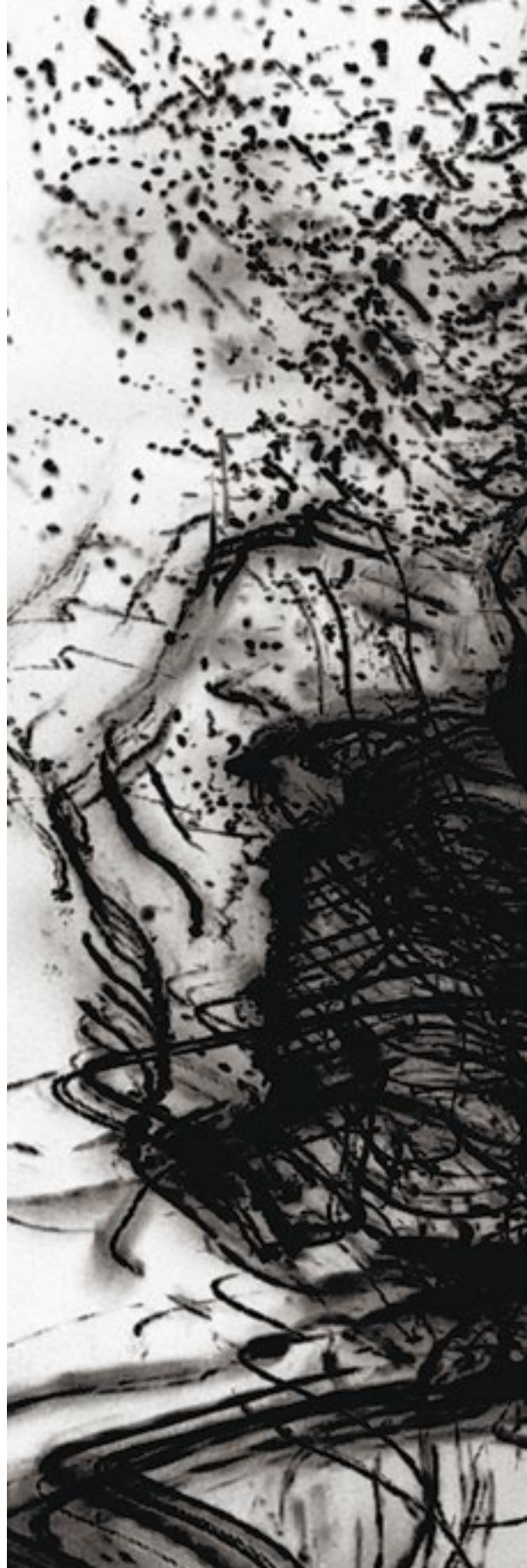
— Нет здесь твоего сына, уходи.


— Врёшь, выведи Тамару.

И тут откуда-то появляется Тамара и идёт в густую темноту, протягивая руки, будто обнять кого-то хочет.

— Стой, Тамара! — кричит Марена.

— Стой! — кричат люди.





Но не слышит ничего женщина и продолжает брести в темноту, в сторону реки. И кажется спящему, что уходит за ней и Хаг, отступает гниль к речке. А Марена вдруг закричала: «Проклято это место, и люди прокляты. Холодно. Холодно там, где не греют душу». Обернулась Тамара, будто схлынул с неё сон, — побежала обратно. А Марена, обведя деревню взглядом, пошла в сторону Гнилушки. И никто не звал её...

Проснулся Виктор, страшно и неприятно ему. Что за сон? Чего ждать за ним? Прижал к себе распластавшуюся по супружескому ложу Тамару, приложил ухо к её животу. Где-то внутри спал его сын.

Днём же пришёл к нему дед Игнат и позвал на похороны. Умерла Марена. Говорили, что замёрзла одиночкой в своём шалаше. Но не все в это верили, не верил и Виктор. Сердце его сжималось: хоть и не любил он Марену, но жалко стало и её, и себя, и Тамару, и всех жителей деревни, что не полюдски они живут.

— Дед Игнат, как её нашли?

— Ночью лёд пошёл. Решил сходить на речку, посмотреть. В шалаше лежала. Руки раскидала, как птица, хотела лететь. Чуть-чуть не дотерпела. Весна уже близится. Сгорела Марена. Не уберегли её, — старик заплакал.

Слёзы — это вода, и лёд — вода. А люди только внешне камни. Помолчали.

— Дед Игнат, а не слышал ты про Хага?

— Слышал. А тебе почто?

— Сон у меня был.

И рассказал Виктор старожилу про своё ночное видение, как Тамара к речке пошла, а Марена кричала что-то ей вслед.

— Плохо это, сынок, покойника видеть одно, а Хага — другое. Мой дед рассказывал, а ему его дед рассказывал, что это хозяин здешних мест, который спит до поры до времени в Гнилушке. И раз в десять лет выходит он на берег за чистой душой, и ничего с ним сделать невозможно, ибо неосязаемый он.

И вспомнил Виктор про свой сон.

— Запах гнили из его пасти, а перед этим сначала идёт стена света, а потом свист, после этого появляется и сам Хаг.

И вспомнил Виктор ещё раз про свой сон.

— Спасла Марена твоего сына. А ты её не уберёг. Святая, как и бабка её Аглая...

— А что с этим Хагом теперь?

— Теперь он ничего не сделает. Ушла зима.

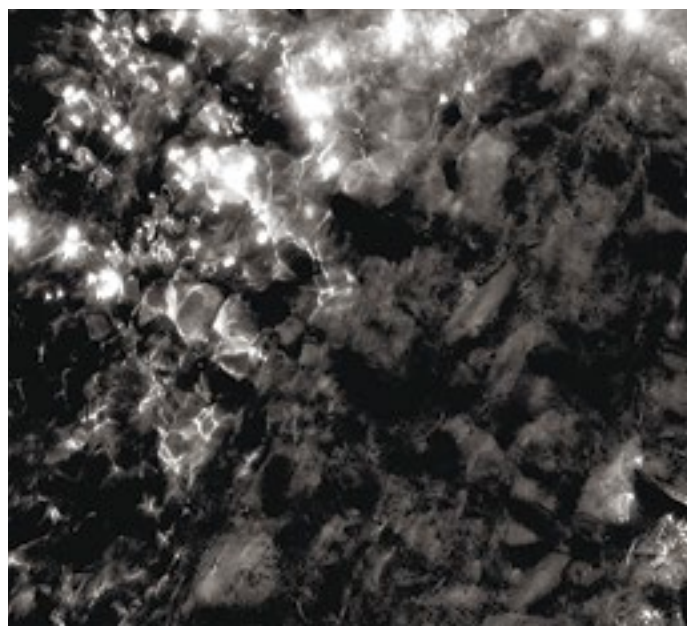
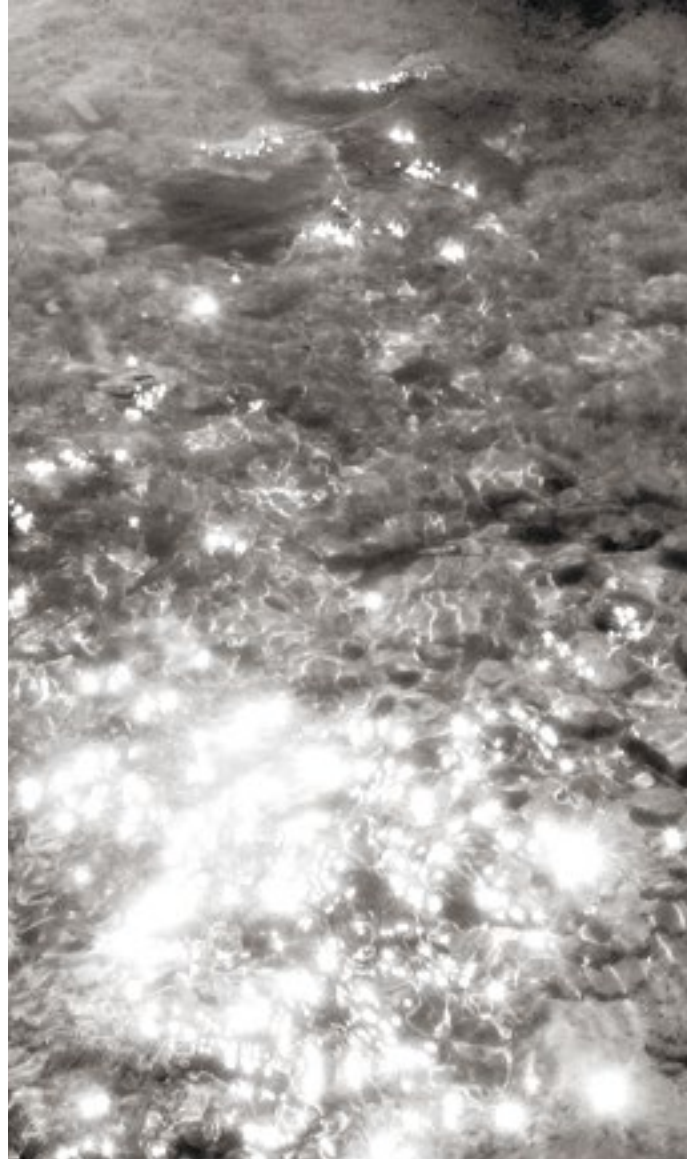
Весна стучалась в окно робкими лучами, приглашая порадоваться, что уходят ветродуи и бла-

гость спускается на человечество. Пахло свежестью земли, когда положили Марену не в гроб, как это делается у христиан, и не завернули в саван, как это делается у мусульман. А по обычаю нарядили её невестой в белое платье, на шею повязали ожерелье из цветов, а голову покрыли прозрачной вуалью. В лицо покойнику не заглядывали. Отмалчивать и оплакивать покойника, по обычаю предков, в Горевом было не принято, да и не было на расстоянии пятидесяти километров в любую сторону служителей, которые за отбывающего решали, в какой рай ему попасть. Хоронили на рассвете.

Собрались всей деревней, пришли все, кроме Коли, так как отбыл он к тому времени с женой в город. Виктор держал под руку Тамару, когда женщину, принёсшую себя добровольно в жертву, сбросили в реку. Обступили рыбы Марену, как долгожданную сестру-подругу, обняли со всех сторон и понесли её навстречу солнцу. И только после этого все вздохнули и стали плясать, так как приняли речные боги Марену в своё царство.

Так в этот год пришла в Горевой весна. И было на душе тепло и радостно.

рн: Александр Фролов



АТЛТА

ЗИ-НЕВИЧ

Пояснение: это — части поэмы «Человек-пРАЗдник», где отражены мои бытие и время, странности и сущность. Началась она с Рождества Богородицы, что поняла, лишь написав про еврейский Новый год. Даты здесь, соответственно, разных культур — от православных праздников до общегражданских, а также личных. Для данной публикации отобраны те фрагменты, которые наименее касаются моей частной жизни, но отражают в значительной мере как её событийный план, так и философские концепты. Поэма в процессе написания.

День Лицея и после

День Лицея. Пригород — как придурок:
тяжко учиться в школе — не поскольку отличница,
радостней в вузе, бессмысленнее — в аспирантуре.
Возраст, для Пушкина лучший, мне самый горький —
потому ощущение прошлого: эти дворцы и парки —
ложь для меня, золотая клетка, зона маточного комфорта...

Дворик филфака в статуях — как мастерская:
словно в стакане абсента гранями изумруда
начинается настоящее — встречи в метро, подруги,
фотографии посторонними — и оковы силлаботоники
рвут, не панкуя верлибром, хиппуя, стихи.

Двор-океан: если Тихий — пацифик.

Двор Академии, храма крылатого, жёлтого Дома,

кронверк, где выпал аркан XII друзьям поэта —
вот моё вечно грядущее: там, где Эвной, не Лета
царскосельских скорбей, ведь уж более пятилетки
я ничья ученица — как и прежде, отличница:
та, чей дар гармоничный и счастье — отличаться!∞∞∞

Введение. В Академию. Анархии

Вечер Введения. Мастерские — машина времени:
от Античности к Возрождению, в *siècle des lumières*. Эпохи,
что гармонию тела ценили не меньше духа.

Вечная натурщица в дружбе
с местными ню без претензий к оплате и пище:
мощный Германик, Кощей-экорше, скелет...

В Главном Здании брешет бюрократический цербер —
к вольным каменщикам оттуда Протей стремится:
лето абсентом плюща здесь змеится дионисийски,
аполлонически нежатся снега слепки.
Та, кто паспорта дважды моложе ликом,
никанон для modeling — утешенье позированием.

Вот снежок на сапожках; вот кисломолочный в пакете
да шарлотка насущная — птички Божьей диета,
одолевшей в себе монополию пола
многозначной неправильностью глагола:
страсти песен Пиаф заземлял худощавый тёзка —
вышел бунтарский трактат Коперника!∞∞∞

14.12, или *unpredictable_predictor*

День Рождения деда — и Нострадамуса.
Сказка странствий по звёздным морям.

Я всегда капитан, и разыскиваю маяк:
фотостудию в башне, глаза в зеркалах подвальных —
озарение зримо, чтоб позже достичь, обнять —
от знамений до знамени...

Для того отличаться, чтоб чувствовать, что жива,
в близких людях, вещах отражаясь;
из-за дедовых граффити мне пришлось захотеть, что тайна,
призывая в центуриях подчиняться:
не могу монолог и считаю всегда от двух
я — непредсказуемый предсказатель.

Раньше что-то умела, как все, а теперь
не страданье — зачатие вдохновенью:

для меня насильственно бесполезен
между счастьем и творчеством выбор —
как может птица из двух крыльев единое предпочесть,
сохраняя предназначенье: лететь?!∞∞

католическому Рождеству

Рождество моих предков-католиков. Но закрыты
в Старом Таллинне церкви: покоровшиеся Христу драконы,
на костях которых костёлов резные рифы,
спят, и в полночь Золушка в хороводе
на базаре с русским Сантою, как в молитве;
ангелы находят искомое в случайном кадре...

Вместо снега весёлого — скучный дождь,
а трамваи, как будто по пьяни, водит
до пародии на Петергоф:
прежде днём в запотевших очках размок
братьев Гримм зефирно-пряничный домик —
бело-розовый Кадриорг.

Через год завтра дантовых девять лет,
как слепым человеческим языкам
предпочла лучезарную речь планет,
дабы смог уподобиться друг волхвам,
ощущавшим свеченье влечения к вере
императивом пути в пещеру!∞∞

С Новым Годом летучей мыши!

С Новым Годом! Сырая земля подмёрзла,
и Вакулой на чёрте под утро спешу по звёздам —
так на велике ангела, позже украденном, чёрном,
в годовщину знакомства: все дороги ведут в метро,
а созвездия пляшут благой прогноз
в 130-м автобусе блёстками шапки кондуктора...

День Рожденья сходил к Зверлину в мастерскую,
на любимую улицу позже в полночь.
О аптека — любительница абсента:
на плаще крестоносца видны мне единственно плюсы.

Свет балкона — моё сверхновое солнце,
что с хоругвью восходит в Казанском соборе.

Время в стихах спиральной галактикой. Ночь
в шахматы проиграла и выиграла в итоге.
Сплю до полудня, как в худшие годы. В сумерках
расплывается город грехов бензиновым комиксом,
и навстречу змеятся, как Млечный Путь,
скованные одной гирляндой влюблённые!∞∞

Рожд. № 2

Рождество — российских железных дорог
звонким блеском созвучие: за звездой локомотива
электрички волхвов да пастушьи товарняки;
без билета с портвейном сторожит от кондукторов ангел
в мастерскую к Иосифу Деву Марию,
покидая имперское уныние Иудеи...

Золотая пустыня не то, что премудрости пирамид:
путешествовал Он бы, если б любил Назарет?
Так и мне лишь предтеча пафосом чуждый пригород,
чья окраина серая, как обыденность,
лишена и подобия близости
чуда Загородного Проспекта.

Дом, порой выбирающий тех,
кто достоин с дарами в его пещеру
в знак успеха смиренно зайти,
как звезду, несущий аптечный крест —
место второго рождения = воскресения:
всем сияющим сонмом значений — вертеп!∞∞

ССНГ (Один день Энеи без отчества)

Старый Новый Год — реинкарнация, ренессанс.
Мать ученья для тех, кто Отца не понял.
Местечковый праздничек про запас —
среди чуждых и чтение мучительно монотонно:
от бокала до пола похмельному ассорти
в равной мере со мною не по пути...

Та-Кто-Учит — чудачка, догадливый враг рутины —
пьёт космический риск из бутонів Martini,
обучая подругу тончайшим оттенкам Бога,
чтобы вдруг в подземелье её причастил бы кофе
ангел песен БГ, кто в оплоте веры —
светоносный исток романтической атмосферы.

В Академии сонно и forte пьяно:
пусть кольцо с черепами замкнёт композицию странно,
ведь в рисунке ладони свет с тенью сольются долей:
созерцай, возвращаясь из мастерской,
как Михайловский замок и Марсово поле
захватила звёздная армия пауков! ∞∞∞

недоКрещение

Вечер перед Крещеньем. Пока на больничных морозы,
за водой освящённой к архангелу на работу,
повинуясь преображенью пришельца в ёлку;
позже вдоль света в кафе поэтов
с мелодичной ехидцей играть Вольтера,
экзорцируя возраст и пол сансары...

Год, лишённый зимы. Как истины: до чудес
то ли дланью подать, то ли только как сон видать —
аки воск от пламени, страх от веры;
мне закон не писан, а благодать,
как погода и русский праздник, не склонна к мерам:
на тебя или лучшего погадать?

Все пророчества — переводы: качели точности.
День Рождения друга, однако болезнь беспорочного
омрачает застолье отсутствием; ветер времени
сутки спустя унесёт мою лёгкость в другие гости
наблюдать, как мерцающей азбукой Морзе
на Парнасе высоты друг другу строчат сообщения!∞∞∞

6/10 февраля

В память Блаженной Ксении, также и Боба Марли,
всё Смоленское кладбище укутано мумией в марлю

долгожданного снега; иду меж свечей, как по небу —
эфемерным огнём свеч дешёвых цветут могилы,
окна часовни лучатся и стёкла церкви,
и поют с прихожанами вместе льдинки.

А под вечер предтечей старости, но от сырости
то и дело премьеры страшилки «челюсти»:
ощущенья на глубине и в реальном времени
лишь отчасти подвластные мне —
так земля понимает потуги семени;
я одна колядую мороз и не жду весны.

Исцеление дружбой сродни философией утешению:
скоро мне поздравлять, кто мне жить помогает, с рождением;
в честь Домового — Новый Год, деревьев:
единство Рая. Сказочное время,
когда у звёзд, подобно смертным, детство
блестит улыбкой в тёмной коже неба!∞∞

25/26.2.

День рождения Джорджа Харрисона, а завтра — Виктора Гюго:
в дни слиянья зимы с весной воздух — металл и наркоз,
юной свежестью неотразимый нарцисс;
в знаке Рыб часто счастье ко мне плывёт
алхимическим золотом и апостолом ко Христу,
предвещая чудесное: книги, Дом...

Но скончался сэр Носкин — удача котам под хвост? —
справедливей конец другой — нет мужчин среди моих врагов:
недоженщины страшные, непреклонные,
мачехи Жар-птиц бирюзовых,
коренные? — как общества столп гнилой;
изредка, впрочем, кусают комментами тролли.

Сообщение с бухты-барахты, потом — тревога
за сохранность врат райских уж год,
пусть пока что на месте сторож: вовек да пылать крылом!
Но зачем жива дама пик, мёртв прещедрый король?
Будь я Богом — наоборот бы.
Вместо ответа даосская кошка перекачивается через дорогу!∞∞

МАРИЯ

СУВОРОВА

Туман разбивается о бетон, бетонное море
Льётся рекой через город мой,
Переставший быть домом.
Спорят стоящие на берегу —
Моё всё вокруг или чужое...
Собака запрыгивает на корму:
Воет, воет, воет.

Закроешь глаза — и не молишься, и не видишь
Тёмно-зелёное облако, крымское
Предгрозовое.
Закроешь глаза, и спокойствие — беспредельно...
Как счётные палочки на столе, чётки мои,
украденные из класса на параллели.
И волны проходят быстро, и катер уходит.

Собака уже молчит, а ветер надсадно ноет.
Но волны оближут губы,
И успокоят.
Весь мир состоит из камней,
А камни не знают боли.

Про Ганну

1

Ничего нет хуже, чем, зная о боли, терпеть боль.
Вот, лежишь сам себе поперёк горла,
сам себя поперёк изгибая.
И, да, у меня внутренняя Ганна — сильная и волевая.

Ганна заваривает чай, слушает гром, затем медленно читает.
Ничего нет хуже, чем ждать беды —
Её предчувствие останавливает на полуслове.
Ганна в этот момент тихонечко режет лимон ножом,
Останавливается, передумывает, улыбается и уходит.
Так проходят годы — тёмные и дрянные,
Как ни крепись, но крепкими остаются только вина.
Но Ганна не пьёт. Ганна стережёт дверь.
Смотрит в глазок каждые две минуты и кивает.
Ничего нет хуже, чем просто боль —
Не острая, а тупая.

2

просто скажешь что всё будет хорошо
затуманенный сонный вечер
надвигающаяся гроза
Ганна читает книгу я вижу её глаза
сколько лет прошло думаю
а она по-прежнему хороша
просто скажешь что место и время
совсем не помеха
руку подашь
пальцы подцепишь
но вырвусь и отвернусь
и хоть наша жизнь в некоторые моменты настолько
хороша
Ганна
насколько хороша
что сколько лет прошло не важно
и чья это семья не важно
просто скажешь попозже об этом
чтобы я до последнего не понимала
что отнимаю
кого отнимаю
у тебя или
у самой себя

3

Останавливаешься на полуслове и больше — ни слова.
Так можно молчать долго, болезненно и непреклонно.
Будет казаться, что ты обижен, сломлен или ушёл в себя.
А это просто маленькая Ганна легла спать.

Помнишь, читать на ночь, расчёсывать волосы?
Тогда и называли без отчества,
Тогда прошлое было безоблачно.
Но то лето показало —
Всё разом может вывернуться наизнанку,
Если не удержать планку.
Вот подруга зовёт на прогулку.

Вот подруга забывает мячик.
Умоляю, кричит, умоляю — позвони в домофон.
И бегом на последний этаж, бегом!
А что там? Ладно бы что-то дельное.
А то — фотографии летние,
Глазки красные и сиреневые.
И больше — сказать нечего,
Показать — особо нечего.
Вот такие они, берега Сочи,
Рассказываешь, а я думаю,
Мне и этого не суждено, впрочем.

На секунду закроешь глаза,
Тайком вздохнёшь.
И мысленно переведёшь:
Это просто кажется, что всё так плохо,
Это просто кажется, что неуклонно
Прошлое отодвигается всё дальше.
Ганна под конец теряет мячик.
И ломается железный домофон.

В городах на горах, евразийском спинном хребте,
Километры уверенно движутся вверх,
В середине апреля на общей для нас широте,
Превращается снег, как мне кажется, в свет.

А потом мне всё видится лето — огненный змей,
Как он мнёт под себя голубое, зелёное, небо, траву,
На воде, на реке ты становишься рыбой, а я водолей:
Моем волосы, лопаем мыльный пузырь наплаву.

Города на горах отличаются большей напевностью слов,
На земле говорится не так, отбивается чёткий слог,
И пришедшие с севера скажут тебе «будь здоров»,
На востоке попросят трижды переступить порог.

Только крик остаётся таким же, что здесь, что там,
В городах на горах, евразийском спинном хребте,
Вспомнишь лес, где кричали друзьям, а они — нам
В середине апреля в сосновой родной широте.

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

Из дома выйдешь — втянет в канитель:
двора сипит пустующая ниша,
над ним рассвета смятая постель,
и лес молчит во всех значеньях нищий.

Идёшь на вспышки быстрые машин,
они точней запечатлеют время,
где нет тебя, где галстука зажим
существенней. Как символ поколения.

Так детство узнаёшь наверняка
по скрипу колеса тяжёлой «Камы» —
и диафильм твой тянется, пока
таджик на велике спешит к универсаму.

Лови момента кинутый пятак,
просматривай живую фильмотеку:
дрались за двор, болели за «Спартак»
и по субботам шли на дискотеку.

Разбит сейчас там рынок вещевой.
Бесценных книг возьми на распродаже.
Петляй между рядами чуть живой
в дыму шашлычном, в хламе трикотажном.

А рядом стройка, котлована падь,
и стрелка крана в воздухе повисла.
И можно даже не переезжать:
от перемены мест... за переменной смысла.

Мы собирали клюкву слов
в глухих болотах.
Там воздух был упруг и нов,
и небо в звёздах.

И где-то пели соловьи
на ветвях вислых.
А ты мой рот легко ловил,
от ягод кислый.

И было — всё. Совиный крик
тонул в болоте.
И рос невидимый тростник
из нашей плоти.

Но тёмных ягод вкус лесной —
в ночи искомый —
горит на нёбе заревой
сырой оскомой.

В той темноте, где ты меня оставил
без права на амнистию, без правил,
жуком сухим в коробке из стекла,
я в ней — спала.

Я в ней спала и видела сады.
Не яблоки, но алые плоды
на ветках новым знаньем разрастались,
взрывая завязь.

Взрывая завязь времени, мы жили
не в том саду, но в тополиной пыли,
в отцветшем, душном, городском чаду,
где я иду.

Где я иду, а ты уже летишь —
горячий воздух с раскалённых крыш —
проносишься не мною не замечен.
И день засвечен.

И день засвечен, плёнку отмотав, ты
вытащишь её, как космонавта
из капсулы, вернувшейся назад
сквозь мрак и чад.

Сквозь мрак и чад не виден Млечный Путь,
но если ручку двери повернуть,

сочится свет, а если дверью хлопнуть —
ночная копоть.

Ночная копоть, нам её копать и
снимать её, как траурное платье,
и дальше жить в невинной нагоде,
как ты хотел.

Этот дом на Рязанском проспекте —
это твой преждевременный рай.
Потанцуй на скрипучем паркете
и для чая воды набирай.

Принимай новый быт как осечку
осторожной и жадной судьбы.
Отдохни и надраивай печку.
Будут руки в мозолях грубы

от готовки, уборки и стирки,
от такого простого житья.
На колготках заштопывай дырки.
Шей заплатки на ткань бытия.

А придёт муж с работы — очнись,
как багульник в стеклянном графине.
И растительно впитывай жизнь
всю в заботах о доме и сыне.

И воздастся за эту работу,
и случится иной поворот.
Подмастерье не кровью и потом,
трудным чудом свой быт превзойдёт.

Перетечь в бытие поспешив
без пробелов и пятен,
словно отрок, мир нежен и лжив,
близорук и невнятен.

И дорогой, на ощупь, в ночи,
по примятым сугробам,

волоча свою ношу, молчи
всяк, идущий за Гробом.

Выдыхая клубящийся пар,
и глупец, и мыслитель,
принимай, человеке, сей дар,
жизни жалкий проситель.

А истлеешь, тряпичный фетиш,
сколько нитке ни виться,
если ты себя — здесь — не простишь,
там — простится.

— Ну что?.. Когда?..
— Боюсь, что никогда...

Стоит в овраге талая вода.
И ветер надувает капюшон.
Где снег сошёл, пора считать урон.
Вот я опять беглец, переселенец —
В одной руке смартфон,
 в другой — младенец.
А ты идёшь по кромке ножевой
К себе домой, один, едва живой.

— Когда, когда...
 Вода стоит в овраге
А в ней — синицы,
 ветки,
 облака...

Душа моя — кораблик из бумаги —
Ни мужества, ни воли, ни отваги.
Пусть будет жизнь прекрасна и легка!
Дай каждому, о, Господи, по вере!
Мы — из лесу, мы раненные звери.
Ещё — лекарства, чтоб наверняка...
Синице — хлеба,
 сыну — молока.

ЖИЗНЬ

ДЕКИНА

Вышка

В детстве Миша не верил, что дед мог покончить с собой. Наверняка он просто забыл, что уже выпил таблетку, поэтому выпил ещё одну. И ещё. Бабушка говорила, что столько раз подряд забыть невозможно, и корила себя. Она, и правда, часто на деда сердилась. Но Мишка всё равно не верил. Как можно поверить в то, что его дед, смелый горнолыжник, дважды победивший на всесоюзных соревнованиях трудового резерва, захотел умереть? Ну и что, что после инсульта он почти не вставал и целыми днями колотил себя по отнявшейся ноге. На лыжах больше не побегаешь, конечно, но не умирать же из-за этого.

Зимой дед брал маленького Мишу на вышку. Они долго готовились — дед надевал свой коричневый свитер с толстым воротником, заносил с балкона лыжи и звал:

— Миха, тащи катушку!

Мишка приносил ему низкий стульчик. Тогда у всех были та-

кие стульчики — крашеная деревянная катушка от провода. Дед натирал лыжи воском, поправлял крепления. Катался дед хорошо, и Мишка не успевал за ним, но не боялся потеряться — любая лыжня вела к вышке, да и саму её было видно за много километров. Тихий лес, залитый солнцем, и довольный дед, и особенно то, что дома все сейчас делают обычное — спят, пьют чай, смотрят телевизор, а они с дедом тут. Дед прыгал, а Мишка осваивал мелкие горочки и мечтал, что когда-нибудь тоже прыгнет вместе с дедом. Но на лыжах так и не случилось — дед умер, а большую часть железных стоек от вышки в девяностые спилили и сдали на металлолом.

Уцелевшую площадку с лестницей Мишка ещё на первом курсе показал своему сокурснику Борьке по кличке Чума. Чума занимался альпинизмом в институтском кружке и придумал, как можно на этом подза-

работать. Он натянул между вышкой и стойкой линии электропередач трос и устроил «тарзанку», чтобы катать желающих за деньги. Мишку он, конечно, прокатил бесплатно — надел на него альпинистскую обвязку и подвесил на тросе. Толкнул — и Миша поехал. Внизу его поймал Семён. Сам Семён никогда не катался — боялся высоты, но финансовые начинания друга всегда поддерживал.

Ехать было весело и страшно. Мишка смешно визжал, и Чума долго припоминал ему это. Когда желающие иссякли, Чума придумал с вышки прыгать. Он удлинил трос и заставил Мишу шагнуть. Просто шаг в бездну. В следующее мгновение уже случился спасительный рывок крепления, но вот этот шаг и мгновение полёта — это и было настоящей смертью. Мишка будто бы пересилил себя, переломил в себе то, что заложено природой — инстинкт выживания. Тогда он много думал про деда и начинал склоняться к тому, что бабушка, может, и права — что такое самоубийство для человека, который каждые выходные делал это — отталкивался от края и летел вниз?

Парни быстро поднялись и съехали на квартиру. Чума вечно где-то пропадал, а Семён устраивал весёлые пьянки, куда звал местных студентов. Местные в общагу попасть не могли, а разгула им хотелось не меньше остальных. На одной из таких пьянок у Миши случился первый секс. Миша мечтал о нём как о великом таинстве, преображении, но на деле это оказался нелепый перепахон под старой хозяйской дублёнкой. Остался ночевать у парней, на надувном матрасе, девушка пришла сама, видимо, назло. Она весь вечер вертелась около Чумы, но тот рассказывал про Эверест, куда мечтает подняться, ничего не замечал, чем и довёл её до отчаяния. Девушка ёрзала, прижималась, Миша оробел и вспотел от напряжения, поглаживал ногу вроде бы или бок, но так несмело, что девушка не выдержала и поцеловала сама. И остальное тоже всё сделала. Утром она ушла, и больше Миша её никогда не видел. Потом были другие — там же и по той же схеме — только теперь Миша подпаивал сам и действовал куда

смелее. Через полгода всё прекратилось — Чума ушёл на Эверест, Семён вернулся в общагу, а Миша устроился сторожить библиотеку вместо своего одноклассника, завалявшего сессию. А потом в его жизни появилась Дина.

В библиотеке Дина пряталась от злой бабки — мать жила в другом городе. Миша сразу её заметил. И она его. Долго и сосредоточенно поводила плечиком так, чтобы широкая серая кофта, видимо бабушкина, сползла, соблазнительно оголив плечо и ляжку лифчика — не вышло. Быстрым движением дёрнула за рукав и снова напустила на себя рассеянности. Бросила взгляд — смотрит? И тут же поняла, что смотрит он давно и видел всё с самого начала. Тут же натянула кофту и покраснела. Миша почувствовал себя таким взрослым и раскованным рядом с ней, что первым заговорил. Она сразу же к нему прониклась — жаловалась на бабуку, рассказывала про тупых одноклассников-малолеток, про то, как станет архитектором. Они слишком быстро сблизались, и Миша не знал, как это прекратить. Ей оказалось шестнадцать, он посмотрел в карточке.





Хотел намекнуть, заговорил с ней про Лолиту, она не просто всё поняла, она рассердилась и ответила, что ненавидит Онегина, потому что он трус. Трусом в её глазах быть не хотелось. Потом он как-то не уследил и привык. Ждал вечера, скучал, радовался ей. Семён говорил, что это хорошо даже — никаких тебе инфекций, бывших парней и больших запросов, но Миша злился в ответ — он же не какой-нибудь там педофил в самом-то деле.

Дина призналась ему в любви, в хранилище, под тусклой лампой, сделавшей её смуглой и постаревшей. Он подумал, что лучше бы на улице, потому что сейчас она побежит прочь, хлопая дверями, рыдая и задыхаясь, а он пойдёт запирать, шаркая, как старик, по стёртому линолеуму. И почему-то поцеловал. Сначала они просто целовались, потом ласкали друг друга, потом она начала оставаться в библиотеке на ночь, когда у её вихрастой подруги Юльки уезжали родители. Юлька Мишу ненавидела, не одобряла их отношений, но покрывала из духа противоречия — родители не имеют права ничего запрещать, а уж злые бабки,

которые внучке даже телефон нормальный купить не могут, — тем более. На сексе Дина настояла сама — уверяла, что давно хочет и что все её подруги уже успели. И что возраст — предрассудки, и что они ведь всё равно навсегда теперь. Миша пытался возражать, но он хотел её и дал себя уговорить.

Попались они с Диной глупо — диспансеризация. Одноклассницы оказались невинны, а гинеколог никаких врачебных тайн хранить не собиралась — тут же рассказала классной руководительнице, а та позвонила бабушке. Бабушка напридумывала себе плохих компаний, наркотиков и уговорила мать забрать Дину к себе — здесь она точно плохо кончит.

Они прощались под тусклым фонарём, в парке. Моросил дождь. Миша хотел идти к её бабушке и признаться. Сказать, что готов жениться. Но Дина уверяла, что бабушка безумна и обязательно его посадит. И тогда ждать действительно долго. А так — всего-то дотерпеть до лета, а там он к ней обязательно приедет или она к бабушке. А потом ей 18, и всё, свобода. Её странно потряхивало, Миша



обнимал её и чувствовал, что если сейчас не пойдёт, то потеряет её навсегда. Что ему нужен подвиг во имя, может быть, даже тюрьма, скандал во испуление, и тогда их любовь останется высокой, героической. А если смолчать, то всё это превращается в пьяный перепахон под старой дублёнкой. Но в тюрьму было страшно, и Дина плакала, и Миша опять дал себя уговорить. Решил, что поедет с ближайшей зарплаты. Но зарплату задержали, потом началась сессия, которую он чуть не завалил, потому что вместо подготовки бесконечно болтал с Диной по телефону. У мамы ей было лучше — та няряжала её, кормила, отпускала гулять, и Дина расцвела — подводила глаза и говорила с кокетливыми придыханиями. Они стали созваниваться всё реже и реже. Миша паниковал и чувствовал, что она отдаляется, и это только распаляет его. В общаге появилась новая интересная девочка, но Миша старался не приближаться — берёт любовь. Ему нравилось это страдание, и он подумывал о том, чтобы и вправду жениться. К её приезду купил тонкое

колечко с камешком и собирался подарить. Приятно потряхивало от нетерпения, но, когда он увидел её, нервную, похудевшую и этот растерянный взгляд на мгновение — Миша с удивлением обнаружил, что больше ничего не чувствует. Выгорело. Он пересилил себя, по привычке изображал страсть и любовь, но Дина уже и сама зажималась, болтала о пустяках, обсуждала погоду и дорогу. Они пошли в библиотеку и переспали на широком столе читального зала. Лучше не стало. Кольцо он ей так и не подарил. Потом что-то было ещё, какие-то переписки, неловкие созвоны, но, кажется, оба чувствовали облегчение, когда связь пропадала и поговорить не удавалось.

Интересная девочка из общаги оказалась ещё и весёлой — они часами хохотали в курилке. Уже на пятом курсе, когда интересная девочка его бросила и он ушёл в загул, он встретил у Семёна на дне рождения Юльку, ту самую подружку Дины. Подсел к ней с улыбкой и хотел посмеяться над тем, как она его ненавидела, но подружка попросила отсесть. Это слышали, и Мише

пришлось выяснять, что он ей такого сделал. Все притихли.

— Да, Юль, ты чего? Он нормальный вообще, — подскочила грудастая блондинка, которую Миша про себя звал болонкой и собирался сегодня ею заняться.

— Нормальный? — Юлька аж вскочила от возмущения, — Да он девчонку пятнадцатилетнюю трахнул! Мою подругу лучшую! Скандал на всю школу был, её все опускали, вообще все! А она молчала, выгораживала этого урода!

Все поражённо посмотрели на Мишу. Он так растерялся, что чувствовал только необходимость что-то сказать:

— Ей шестнадцать было вообще-то.


Блондинка ахнула, кто-то хохотнул, и Миша только в этот момент понял, как жалко это прозвучало.

— Она сама хотела, — он попытался поправить ситуацию, но только испортил.

— Это Дина которая? Она же умерла вроде, не? — спросила девчонка с банкой пива в руке.

— Её к матери сослали в Киров! Мать её чморила, она сюда приехала, думала, он её забереёт, а он... Он её на столе трахнул. В библиотеке.





— Да ну на фиг, ты гонишь! — усмехнулся Толян, но посмотрел на Мишу и осёкся.

— Да правда это! — вмешалась девчонка с пивом, — Я её страницу палила, она в Кирове по рукам пошла, сдолбилась и умерла. Там пусто у неё теперь.

Все смотрели на Мишу.

— Во ты гад, — удивился Толик, но Миша даже отвечать не стал. Просто выскочил.

Он понимал, что надо ответить, оправдаться, но на всё это не было сил. Дина мертва. Он был уверен, что она нашла себе какого-нибудь красавчика на красной усаженной бэхе, ей такие всегда нравились, и колесит с ним по Кирову, а её нет больше. Просто нет. Этих ключиц нет, ручек и капризного изгиба верхней губы. Выходит, он убил её, из-за него она по наклонной и умерла... Как он мог это допустить? Почему не предвидел? Хотя вот Семён уверен, что предчувствия не существует — каждый живёт в своей консервной банке и познаёт мир через узкий прокол в оболочке. А когда что-то происходит страшное и банку встряхивает, человек чувствует себя настолько ничтожным, что

начинает внушать себе, будто бы можно было это предвидеть и сам-то он подозревал, но вот дал слабину. Слабину. А так-то он сильный, конечно.

И мало того, что перед собой было невыносимо, об этом ещё и узнали. Он вдруг предстал пред собой во всей оголяющей простоте, во всём животном своём и отвратительном. Ужас от стыда жить, быть собой и странного, алогичного желания жизни. Будто пустота смотрела в него, и то, что она там видела, было не Мишей, а жалкими стыдливими комочками слизи. Трепещущими, жмущимися друг к другу в страхе и умоляющими сохранить их с такой силой, которая даже унижительнее унижения. Смерть правильнее сейчас. Спасать нечего. Жить дальше нечему. Всё, что есть в тебе, — несколько уродливых комочков слизи, бактериальная масса, плесень, выросшая на чём-то тоже не твоём. Не от боли люди выходят из окна. От омерзения. От брезгливости.

Кроме решимости это прекратить, Миша ничего больше не испытывал. Была слабая надежда, что не дойдёт, что как-то

остановится. Что Семён за ним прибежит и задержит, но вышка приближалась с каждым шагом, а ничего не происходило. Когда он полез наверх, скользя по ржавым перекладинам, он надеялся, что сорвётся, сломает ногу и это станет для него наказанием и искуплением, но сам чувствовал, что это ложь и что не сорвётся он.

Внезапно Миша начал молиться. Первый раз в жизни. Горячо, истово, вслух. Умоляя Бога, чтобы он подал ему знак, указал, нужен ли он ещё в этом мире, стоит ли ему остаться или всё уже — он не человек больше, а просто комок слизи, и честнее умереть и не позорить мир своим существованием.

Но знака не было. Уже наверху, когда он подошёл к краю, он заметил внизу, прямо на том месте, куда собирался прыгать, подростков. Трёх девочек и двух мальчиков. Они не видели его, курили, спрятавшись за кустами.

Подростки никак не уходили. Сил стоять больше не было, хотелось упасть, свернуться калачиком и рыдать. Или прыгнуть, чтобы прекратить это всё, но он уже и так сделал слишком много зла этому миру — упадёт

на подростков, убьёт кого-то ещё. Он стоял и выл куда-то вверх, раскрыв рот и поджимая челюсть, продолжая молиться и понимая, что уже спасён и что не станет он прыгать, остыл, он уже плачет. Смирился и хочет жить даже таким. Подростки, как назло, заметили его, и поняли, зачем он тут стоит. Две девочки с визгом отбежали в сторону, боясь, что он на них прыгнет, и в визге этом слышались нотки веселья. Ещё одна девочка поговорила с мальчиками и сначала полезла наверх, но потом передумала. Когда Миша начал спускаться, подростки ушли.

Позже выяснилось, что это была не наркомания, а неизлечимая наследственная болезнь Гентингтона, о которой Дина и её мать знали, поэтому Дина жила у ничего не подозревавшей бабушки. Как только нарушения координации стали слишком явными, Дина не выдержала и покончила с собой.

Это сильно его изменило. Он посчитал подростков знаком, прощением, доказательством того, что он тут ещё нужен. Работал много, занимался благотворительностью, котята

там всякие, дома престарелых, бездомных кормил. Перевёз к себе маму, долго ни с кем не встречался, не пил, курить бросил. После третьего повышения открыл свою фирму и ушёл в работу. Планировал доплатить ипотеку и жениться на какой-нибудь хорошей девушке из волонтеров.

А потом умерла мама. И это было такое новое странное чувство, будто бы он больше никому ничего не должен. Будто бы всё в мире держалось на маме. И что все законы — нравственные и вообще — всё это надо было соблюдать из стыда перед мамой. И тогда он умереть хотел только потому, что боялся, что мама узнает про Дину. А теперь мамы нет, и смысла быть хорошим нет. И как выйти из этого, непонятно. Тогда хоть можно было узнавать правду, искать маму Дины в Кирове, писать ей, говорить с теми, кто Дину знал и тоже любил. Радоваться, что она про него рассказывала. И только хорошее. «Правда, тюфяк немного, но не злой». А тут что? Просто боль. Просто прими. Миша перестал спать. Не мог. Вспоминал маму и скупал. Её нет. Просто нет. Нигде.

Когда стало совсем невмоготу, он вспомнил про вышку. Умирать на этот раз не хотел, просто от усталости. Надоела боль. Хотел чуда. Хотел, чтобы снова знак.

Пока Миша лез наверх, ему казалось, что его уже не существует и воздух выходит из груди таким же ледяным, каким он был на вдохе. Хотелось запомнить пуговицу, вытянувшую синий кашемир пальто, крупинки грязи на ладонях, луч, внезапно пробившийся сквозь тучу и высветивший пятно на клубящейся поверхности леса, неровный овал озера. Это было красиво — готовиться к смерти — стоять вот так, на ветру, в распахнутом пальто, смотреть на заходящее солнце и чувствовать, как ржавая вышка под тобой еле заметно покачивается. Листья ещё не опали, и оттого кажется, что мир перевернулся — обычно светлее небо, а сейчас жёлтые пышные кроны куда ярче, чем серые нависшие над ними облака.

Шагнуть к краю и посмотреть вниз. Организм осознаёт угрозу — кожа над висками немеет, а уши отпыриваются назад, как у кота, и резкий кислый вкус во рту. Разжать пальцы и всё. Мозг начнёт подсовывать спаси-

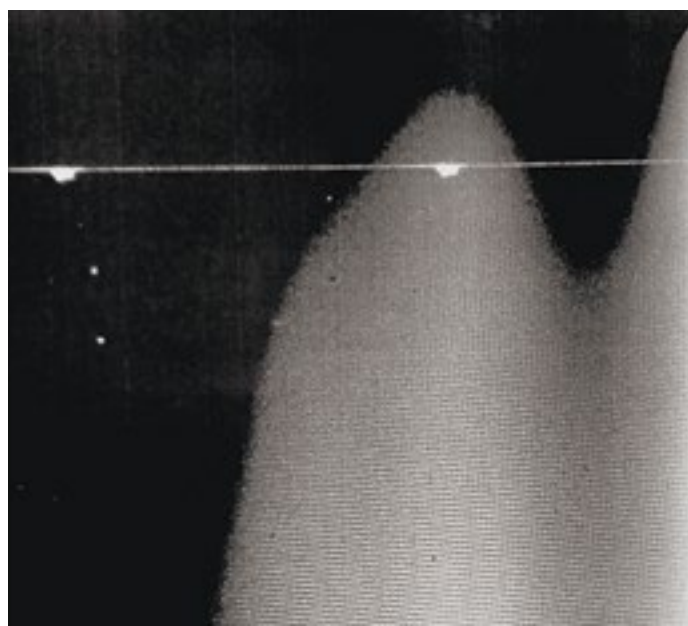
тельные мысли, маневрировать, чтобы отвлечь от пугающего. Пугает, что тело порвётся от удара. Что внутренности вывалятся, и он станет отвратительным. Замереть так.

Этого животного страха, который пронзает, как электрический гвоздь в затылок, вполне достаточно, чтобы жить дальше. Работать, жениться, заводить детей. Просто постоять у края, ощущая, что можно выйти сейчас из своей жизни, в одну секунду прекратить всё. Почувствовать точку пустоты. И всё наполняется смыслом, и ходы какие-то, решения проблем находят. А если и не находят, то и чёрт с ним, мелочи это. И не такое переживал.

Жена говорила, что он псих и нельзя играть со смертью, бог этого не простит. Миша знал, что простит — бог уже спасал его в трудный момент, и каждый раз на вышке Миша чувствовал особую близость к нему. Не из-за высоты, а из-за того воспоминания, про подростков. И спускаться всегда странно — весь ты отяжелевший и опустошённый, заторможенный, как после сильной боли, а потом становится весело, и обратно уже насвистывая.

Сколько раз он сюда приходил?

рн: Александр Фролов



СТЕФАНИЯ ДАНИЛОВА

Из книги миниатюрной прозы «Атлас памяти»

Что, если стихи — это города такие?

Огромная, непозволительно раскидистая карта городов-текстов: выбирай любой, на вкус и цвет, анапест и ямб, бейся в ритме любого сердца. Неслучайно читатель говорит о годном тексте как о добротном, грамотном путешествии: вот моё послевкусие от моря солью на потрескавшихся губах, вот мой нехитрый саквояж с парой снимков местных красот, да рубахой этнических мотивов, да ещё варганом, чтобы ветру подыгрывать; а это я камушки вместо магнитиков привёз. Чтобы с собой всегда, и даже там, где холодильников днём с огнём нет.

Я просыпался около полудня в больших просторных пустых стихотворениях и ничего не выносил из них, кроме спальника, усыпанного шерстью несуществующих кошек.

Ночевал в маленьких стихотвореньицах, увешанных бусами из гирлянд, пил там желудёвый кофе из пронзительно-синих бутылочек, и вообще там всё было странное. Громко плакал в стихотворениях, которым не было конца и края. Кричал во всю глотку в стихах, обступавших меня каменным мешком.

Я был прописан в стихотворениях одного поэта, который никогда не жил на Земле. Если бы я узнал, кто он или она, если бы я увидел его или её грудь, вздымающуюся от человеческого дыхания, если бы я ощутил его или её ладонь — мало чем отличающуюся от моей собственной, я бы никогда, никогда не читал стихи более.

Изумрудные проспекты, кофейные небеса и шафрановые крыши далеко-далеко, там, где нет меня, там, где нет меня.

Нет лучшего экскурсовода по городу, в котором живёшь, чем представитель самого дешёвого кавказского такси. Проложи маршрут так, чтобы он пролегал из северных е.ней в южные или наоборот, и смотри в окно. Для усиления эффекта можно слушать музыку и курить. Ты не узнаешь, что случилось здесь в 1784 году и какой царь повелел возвести этот дворец, зато поймёшь, что кресты можно увидеть не только на кладбищах, куполах или груди христиан. Снимай на мыльницу незамыленным глазом на лютой скорости. Вспоминай дом, где бежишь под дождём к любви. Парадную, из которой ты выходишь иным человеком или не человеком вовсе. Или не выходишь, а выползаешь или вываливаешься. Чёртов мост, чья профессия соединять,

а он взял и разлучил. Окна на двенадцатом этаже вон в той новостройке, за которой самые вкусные пирожки на свете четыре года назад. Крышу, на которой легче всего слушать классику, но только если ты вот с этим человеком, а не с тем. А ещё как смеялись в этом парке и валялись на траве. А под теми окнами орали как оглашенные.

Цари и даты не помогут тебе сохранить твою собственную память, безотносительно к твоим баллам ЕГЭ по истории. Ты можешь любить или ненавидеть историю, учить или не учить, ходить в Эрмитаж или нет.

Свою историю ты обязан не только создавать, но и помнить.

Потому что кто ещё, кроме тебя, а?



KIKAFI



АНДРЕИ

ТИМОФЕЕВ

**Роман Сенчин.
Летопись о себе**

Роман Сенчин начал печататься в толстых журналах в 1990-е годы, однако заметной фигурой литературного процесса стал благодаря явлению так называемого «нового реализма», провозглашённому в начале 2000-х Сергеем Шаргуновым, Захаром Прилепиным, Валерией Пустовой, Андреем Рудалёвым и другими молодыми авторами. Сенчин и «новый реализм» так хорошо подошли друг другу общими установками на предельную открытость и бытовой натурализм, что вскоре писатель стал если не лидером, то наиболее характерным представителем своего поколения (а впоследствии мог даже укорять Шаргунова и Прилепина в отходе от общих ценностей в литературе).

Ранняя проза Сенчина удивляла читателей и критиков стремлением лирического героя к беспощадному саморазоблачению, причём зачастую героя этого звали Роман («Ничего», «Общий день», «Минус»), профессия его была — писатель («Чужой», «Вперёд и вверх на севших бата-

рейках», «Проект»), а подробности семейной жизни, погрязшей в бытовухе и ссорах, кочевали из текста в текст («Погружение», «Афинские ночи», «Конец сезона»). Характерный герой Сенчина тех рассказов (например, его тёзка из «Говорят, что там нас примут») — гнусный тип, смысл жизни которого — «выпить по возможности больше, поесть желательно плотно, не упустить шанс повеселиться, подобрать, что плохо лежит», он не любит ни жену, ни будущего ребёнка, всегда врёт, и верх его желаний — хлебнуть дешёвого разбавленного пива. Однако в самозабвенном исповедании этот герой нарочно выпячивал свою гнусность, словно пытаясь всё время кому-то доказать, что он плох. И в этом нарочитом выставлении своих пороков на всеобщее обозрение и доведении внутренней подлости до самоотвращения угадывалась неподдельная нравственная борьба (пусть даже и заканчивающаяся каждый раз почти манифесталь-

ным утверждением духовной пошлости: «Дальше, смелее по жизни! Хватать что ни попадя, смеяться, давиться и жрать» — как бы победой одной из противоборствующих сторон). В этой отчаянной борьбе раскрывался перед читателем самобытный человеческий характер (родственный, скажем, герою «Постороннего» Камю или Иудушке Головлёву). Так было и в «Афинских ночах», и в повести «Нубук», и в рассказе «Персен» (где герой неожиданно «открывался» нам лишь под конец), и во многих других текстах.

Но постепенно герой Сенчина переставал кричать о своей гнусности, как будто бы сжился с ней. Спадало нравственное напряжение, на котором держались рассказы. Пошлость ушла вглубь, становясь привычной, и сделалась характеристикой не только героя, но и самого автора («Погружение», «Сорокет», «Вперёд и вверх на севших батарейках»). А потом отпала необходимость в лирическом герое, и Сенчин стал писать о других людях, но так, как видел бы их тот же самый его лирический герой. Это были уже не тексты об Иудушке Головлёве, а тексты, написанные Иудушкой Головлёвым, в которых весь мир тенденциоз-

но воспринимается сквозь призму его собственного сознания. Естественная хаотичность жизни уступала назойливо педантируемому мотиву неудачи, распада, смерти — как на глобальном уровне, так и на уровне мелких сюжетных коллизий. Если заражённый СПИДом парень в рассказе «Мы идём в гости» начинает потихоньку возвращаться к нормальной жизни при общении с новыми друзьями, то его непременно избыют; если герой «Зоны затопления» поедет на кладбище участвовать в перезахоронении останков, то обязательно подхватит что-то вроде сибирской язвы, а другой герой с больным сердцем умрёт; если женщина отправится в тюрьму на свиданье с мужем, то свиданье отменят, как в рассказе 2017 года «К мужу»... Этот бесконечный список можно продолжать, беря наобум любой текст Сенчина. Видеть в этом «правду», поверить в худший из десятков вариантов как в заведомо единственный — значит либо воспринимать мир через призму той же тенденциозности, либо просто не иметь понятия о правде как о целостном выражении достоверности реальной жизни. В восприятии мира заведомо подлым есть не правда реалиста, а мания-

кальное отрицание постмодерниста. Тенденциозность подобного нарочитого сгущения ничем не правдивее саркастического снижения В. Сорокина (хотя вроде как именно с постмодернизмом «новый реализм» и должен был вступить в самую яростную борьбу).

Впрочем, воспринимать прозу Сенчина как игру а-ля Сорокин ИЛИ как прямое высказывание литературного Смердякова, по-видимому, неверно. В этих текстах подспудно живёт несогласие с духовной пошлостью описываемого мира: чем больше автор сгущает чёрное, тем отвратительнее это чёрное ему самому и тем сильнее он пытается его манифестировать. В этом болезненном выпячивании порока при сильном инстинктивном отвращении, вероятно, можно найти определённое нравственное основание прозы Сенчина (хотя зачастую критика относится к этой характерной особенности слишком серьёзно, например, та же В. Пустовая находила в подобном способе изображения мира «отрицательное, от противного высказанное христианство» — что, безусловно, перебор). Скорее перед нами восприятие эдакого нравственного подростка, детский инфантильный взгляд на мир

(и потому так органично выражен он глазами тринадцатилетней девочки из повести «Чего вы хотите?»). У такого автора получается ставить острые вопросы, которые смущают «взрослых» (как, например, вопрос о том, почему Распутин и другие писатели, приезжая к будущим переселенцам из зоны затопления, не заявили дружно — нельзя такого допустить), но искать ответы он категорически не хочет. Боязнь «стать насекомым» (выражающаяся в постоянном описании «насекомых» глазами «насекомо-го») лишает автора внутренней свободы и вынуждает закрыть лицо ладонями и бесконечно проговаривать свой страх вместо того, чтобы распахнуть глаза и увидеть реальный мир.

К сожалению, единственный способ преодоления нарочитости и тенденциозности — психологическая достоверность — Сенчину оказался практически недоступен. Чтобы в этом убедиться, достаточно, скажем, внимательно посмотреть на психологические детали, характеризующие каждого представителя семьи Елтышевых. Сенчин не знает других людей, да и не хочет знать, а находит внутри всех ту часть себя, которую открыл когда-то. Критиков

может обмануть то, что его герои теперь вроде бы и не имеют ярко выраженных отрицательных черт, однако по большому счёту эти герои не имеют характерных черт вообще, перед нами — галерея бесцветных, инфантильных, обречённых людей; вместо многообразия жизни — мир «сенчиных». И потому в смысле стратегии писательского поведения кажется правильным новое обращение автора к повествованию о себе самом (в сравнительно позднем романе «Информация»), ведь это, по сути, единственная точка видения, из которой у него получается писать вполне достоверно.

Последние годы Роман Сенчин обращается к теме политики — но и здесь его «фирменный» взгляд легко низводит всё, на что падает, до пошлости: и нынешнее устройство жизни, связанное с властью («Дорога», «Полоса», «Зона затопления»), и протестные акции оппозиции («Чего вы хотите?»). Впрочем, это опять-таки не характеристика общественной ситуации, а, скорее, особенность всё того же привычного авторского метода нарочитого сгущения.

Слабость прозы Сенчина особенно ясно видна при напрашивающемся сравнении романа «Зона затопления»

с «Прощанием с Матёрой». В повести Распутина перед нами предстаёт целостный мир народной жизни: и быт жителей острова, и их восприятие своего места в мире, и даже языческие существа, населяющие Матёру... Переселение здесь лишь деталь сюжета, которая позволяет остро поставить вопрос о мере и ценности человеческой жизни. В поисках ответов на этот вопрос герои, с одной стороны, чувствуют отчаяние — «стоило жить долгою и мытарную жизнь, чтобы под конец признаться себе: ничего она в ней не поняла...»; а с другой стороны — воспоминания о радости совместной жизни и работы и о красоте окружающего мира «останутся в душе незакатным светом», так что «быть может, лишь это одно и вечно, лишь оно, передаваемое, как дух святой, от человека к человеку, от отцов к детям и от детей к внукам... и вынесет когда-нибудь к чему-то, ради чего жили поколения людей». «Зона затопления» же не поднимается до подобных бытийных вопросов, в ней нет никакого сцепляющего начала, кроме образа бездушной властной машины, подавляющей типичных сенчинских инфантильных героев. Живое здесь — лишь те же самые

отчаянные «детские» вопросы Алексея Брюханова и журнальки Ольги да несколько трогательных и убедительных моментов в «старушечьих» главах (особенно в главе о Чернушке).

Парадоксально, но если в прозе Сенчин не может понять и описать никого, кроме себя, то в критике он оказывается необычайно широк и с интересом и любовью рассуждает о многих, по-видимому, даже чуждых ему авторах. Рассуждает и о тех, кто старше, и о тех, кто моложе, но с особенным вниманием — о писателях своего поколения. В течение многих лет он периодически писал объёмные и вдумчивые статьи (в 2005-м — «Свечение на болоте», в 2006-м — «Рассыпанная мозаика», в 2010-м — «Питомцы стабильности или грядущие бунтари», в 2012-м — «После успеха», в 2014-м — «Новые реалисты уходят в историю», в 2015-м — «Не зевать»), анализируя представителей «нового реализма». В этих статьях он не пытался быть идеологом направления, не открывал новых горизонтов, не строил концепций и уж тем более не занимался утверждением каких-то политических взглядов — он был скорее внимательным архивариусом (так много, кажется, не знает о своём поколении

никто). Причём героями его работ были не только прозаики и поэты, но и критики (например, А. Ганиева, В. Пустовая) — все фигуры литературного процесса представляли для Сенчина практически одинаковый интерес. Он отмечал дебюты, а через несколько лет возвращался к тем же авторам, проверяя, что у кого получилось, пытаясь для каждого угадать его собственный путь.

Сенчину почти не свойственна была острая критика — он предпочитал мягко предостерегать (Кочергин «близок к исчерпанию своего героя»; Новиков «примирился с природой, но из прозы исчезла тоска, которая заставляла читателя сострадать»; Гуцко, Шаргунов и Прилепин ушли в «широкие моря истории», откуда сложно будет возвращаться «в родные ручьи личного»). И только в одном Сенчин был непримирим, повторяя из статьи в статью свой главный призыв — не стать на сексомым, раздражаться («раздражённый писатель может написать что-то, что раздражит читателей»), не зевать (то есть «не примериваться к тяжести той или иной темы», а «схватить её и ворваться» в литературу, потому что «мало регулярно выносить на суд читателей хорошие произведения. Нужно большее.

Нужно оглушить читателя своей прозой»). Правда, призыв этот, по сути, не о глубоком осмыслении, а о том, чтобы стать заметным в литературе и в жизни.

Но, пожалуй, по-настоящему понять Сенчина-критика можно, читая его последнюю книгу «Конгревова ракета» (2017), объединяющую написанные в разные годы статьи о классиках и о современниках. Именно в изучении литературного процесса в целом Сенчин обретает, наконец, подлинную внутреннюю свободу, позволяющую ему легко сопоставлять 2000-е и 1830-е, сравнивать Белинского с молодыми критиками поколения «нового реализма», непринуждённо переходить от романа Д. Быкова к поэту начала XX века Тинякову и помещать под одной обложкой статьи о Державине, Шолохове, Распутине, Башлачёве, Новикове, Кочергине, Гришковце и т. д. При этом Сенчин нигде не ставит вопрос о художественной ценности наследия того или иного автора; литература для него — множество самобытных фактов, каждый из которых интересен и каждый заслуживает разговора. На самом деле, вместо того чтобы разобраться в современной прозе и поэзии, используя опыт прошлого, и по-

нять, кто из нынешних писателей мог бы стать автором первого ряда, подобно Пушкину, Гоголю и Достоевскому, он, наоборот, низводит кристаллизованный десятилетиями ряд вершин русской литературы до рыхлости и хаотичности современного литературного процесса.

Роману Сенчину, по-видимому, чуждо глубокое переосмысление реального мира — в прозе и литературного мира — в критике. Он против того, чтобы «дать событиям отстояться», ему кажется правильным «хватать настоящее, пока оно живое, пока сопротивляется, кусает». Из всех «новых реалистов» именно он в полной мере воплощает в своём творчестве, как художественном, так и критическом, принцип «человеческого документа» — подачи действительности такой, какой её видит автор, без излишних усложнений и рефлексий.

По большому счёту Сенчин состоялся не как прозаик или критик и не как символ определённого проекта, а как самобытная фигура литературного процесса, воплощающая в себе само явление «нового реализма» со всеми его достоинствами и недостатками. Он оказался своеобразным летописцем своего времени, по методичным записям которого исследователи в будущем смогут восстановить особенности этого яркого и противоречивого поколения.

АНДРЕЙ КОЗЫРЕВ

Образы природы

в поэзии

Олега Чертова

Немецкий философ Эрнст Кассирер определил человека как «символическое животное». Человеку свойственно наделять каждый предмет двумя смыслами: прямым и символическим. В этом двоёмии заключается один из источников возникновения культуры как таковой.

Символическое мышление европейской культуры формировалось под влиянием религиозной философии христианства и платонизма. Так, христианский мыслитель V в. Псевдо-Дионисий Ареопагит, чьё творчество обогатилось неоплатонической теорией символа, в своих трактатах описывает всё зримое как символ «незримой, сокровенной и неопределимой сущности Бога. Причём низшие ступени мировой иерархии символически воссоздают образ верхних, делая для человеческого ума возможным восхождение по смысловой лестнице».

Вклад в развитие семиотической мировоззренческой систе-

мы в культуре Средневековья внёс Аврелий Августин. Его интересовали вопросы знака, имени, слова. Знаком, формулирует он, может быть названа «такая вещь, которая употребляется для обозначения другого», то есть вещь, которая указывает на что-то другое. Из раннехристианских писателей Ориген, чьё влияние сильно ощутимо в семиотических исследованиях Августина, писал: «Знаком считается, когда посредством того, что мы видим, выражается нечто другое».

Предметы и явления, выступающие в качестве символов, образуют своеобразный символический космос, самостоятельный сложный мир. Одной из наиболее важных составляющих этой символической вселенной является животный и растительный мир.

В человеческом сознании животные (звери, птицы, рыбы, насекомые и др.) выступают как символы, на основе которых составляются образные картины тех или иных аспектов бытия.

Символика животных распространяется и на высшие основы самого человека (так, представления о душе находят выражение в облике птицы).

Мыслители Древнего мира полагали, что определённые животные могут воплощать космические и божественные энергии. Двенадцать животных зодиака представляют собой архетипические символы и олицетворяют замкнутый цикл энергий.

Средневековая мифология имела свой обширный анималистический bestiary. Оценку средневекового символизма мы находим у Й. Хейзинги в его книге «Осень Средневековья». Для средневекового сознания «вся вселенная раскрывалась как необъятная совокупность символов... Средневековые никогда не забывало, что вещи были бы бессмысленны, если бы их значение ограничивалось только их непосредственной функцией и феноменальностью, но что, наоборот, по существу своему, каждая вещь тяготеет к потустороннему. С другой стороны, при этом все вещи пребывают целиком в действительном мире».

В поэзии высокого Средневековья, Возрождения и барокко

огромное значение имела анималистическая символика, в значительной степени перешедшая в культуру последующих эпох. Олег Чертов, защитивший диссертацию по философии Северного Ренессанса, прекрасно знал язык символов и использовал в своих стихах образы тех или иных животных и растений для обозначения определённых духовных категорий.

Наиболее часто упоминаются в стихах Олега животные — пёс, кот, лиса, крыса, насекомые, в первую очередь — пауки. Все они обозначают, как правило, те или иные пороки и тёмные явления внешнего и внутреннего мира. Интересно, что животные, символизовавшие в Средние века благие начала (лев, орёл, лебедь, единорог, грифон), в творчестве Чертова почти не упоминаются. Возможно, это определяется просто тем, что в контексте земной жизни поэта, в сибирском мегаполисе конца XX века, были широко распространены только домашние животные, которых он и описывал, потому что они чаще попадались на глаза. Впрочем, дело, может быть, и в том, что пороки «маленького человека», символами которых

выступают домашние животные, были наибольшей опасностью для мыслителя мещанских 1980-х и бандитских 1990-х годов, а героические добродетели, воплощаемые вольными зверями, в этом периоде истории встречались крайне редко.

Наиболее часто у Олега Чертова упоминается демоническая животная триада, три мелких хищных зверя, связанные с временами года. Осень в стихах предстаёт в обличи рыжей лисы, зима — трёхглавого пса (Цербера), весна — мартовского кота:

*Три месяца зимы, как три
бродячих пса, с оглядкой
Перебежали путь
и скрылись за углом.
И вслед за ними март,
пушистый кот, украдкой
Потёрся о косяк и мой покинул дом.
Потом зашёл апрель,
светловолосый мальчик,
С пасхальным куличом,
с кувшином талых вод...
Но в этот смутный год
всё следует иначе —
Ночами воют псы,
а днём скребётся кот.*

В другом стихотворении зима прямо сравнивается с демони-

ческим трёхглавым псом, вырывающимся из адской тьмы:

*Вот слёзы на коре ствола,
То осень подошла.
Как близко осень подошла
И под кустом легла.*

*Под можжевельным кустом
И рыжим бьёт хвостом.
А хвост, летая вверх и вниз,
Бьёт по холсту, как кисть.*

*...И три астральные часа
Прощарствует лиса,
Пока не вырвется из тьмы
Трёхглавый пёс зимы.*

Думается, что лиса традиционно выступает в этих стихах в качестве символа обмана «прелести земной», пёс — слепой и бессмысленной злобы, кот — сладострастия. В облике лисы, несмотря на лживость этого существа, есть и творческие черты, кот тоже иногда упоминается в стихах Олега как существо, спасающее от одиночества, сиротства пребывания на земле (как в стихотворении «Дом пустынный, нежилой...»). Но пёс всегда обозначает тёмное начало. Чаще всего он упоминается в зимнем контексте:

*Январь. Голландские полотна.
Вовсю ветра.*

*Непогрешима и свободна
Душа с утра.*

*Брожу в лесу оледенелом,
Где был весной:
Слетает снег, и пахнет снегом
И белизной.*

*Забылась в белом сне дорога,
И нет следов.
Но от безмолвия до Бога
Лишь долгий вдох.*

*Спадает в матовую заводь
Неяркий свет...
Лохматый пёс, как чья-то память,
Пролаял вслед.*

Пёс здесь появляется в момент приближения лирического героя к Богу и пытается отвлечь его от высоких мыслей и переживаний.

В одном из последних стихотворений Олега, описывающих хаос, в который скатилась страна в 1990-е годы, упоминаются свирепствующие стаи псов — символ алчных преступных личностей, бандитских группировок, разворовывающих страну, которым было суждено прервать земной путь самого поэта. Интересно то, что собака, дружественное человеку существо, воплощение верности и преданности, практически не встречается в стихах Чертова — только пёс, алчный,

агрессивный и жестокий зверь.

Но самым тёмным в творчестве Олега Чертова предстаёт образ крысы. В стихотворении «Крысолов» это животное, помимо алчности, жестокости и хитрости, обозначает также предательство. Оно появляется в апокалиптической ситуации, порождаемое Сатурном — тёмным античным божеством, в христианстве ассоциирующимся с сатаной:

*Злые чары у Сатурна-старика:
Стаи чёрных, длиннохвостых,
злых снов
Выпускает колченогий из мешка.
Прокричало мне:*

*«Спасите, крысолов!» —
Эхо в городе уснувших мастеров.*

*А над городом моим —
парад планет.*

*Злые чары повисли,
словно сеть.*

*И приманки в крысоловке
больше нет,
Сон волшебный затянулся,
словно смерть...*

Важной частью анималистической символики со времён античности выступают насекомые. Бабочка, например, обозначает воскресение души, вырывающейся из кокона плоти в преображённом виде. Но символ

в виду райских птиц, о которых земные люди не имеют точного представления. Изредка упоминаются в стихах жемчужный голубь (символ благовещения) и петух (символ раскаяния апостола Петра). Но чаще всего — просто птица, «неземная», «странная» или «горняя» — символ неких окрылённых небесных сил, охраняющих человечество:

*...Туман по низинам клубится,
Роса на траве и коре.
И странная серая птица
Тревожно кричит на заре, —*
читаем мы в описании рая.

*...Христос не оставляет нас в беде,
Пускай нелепа снасть берестяная:
Уже взмывает птица неземная,
Как светлый меч пикируя к воде.*

*Темны, Господь, знамения Твои!
Ужели тварь слепая нас поглотит,
Стремительно идя на запах плоти,
Покуда птица ищет блик Любви, —*
читаем в стихотворении, описывающем кризис человеческой цивилизации.

Описывая крайнюю богооставленность современного общества, поэт упоминает о птицах:

*Здесь мрак и тлен,
здесь умирают птицы.
Дочитаны последние страницы.*

*Здесь нет избранья,
кроме багряницы,
Здесь все равны
пред ангельской трубой!*

А когда надо рассказать о причастности человеческой души к небу, он говорит о духовном родстве людей и птиц:

*Но помнят крылья
звёздное пространство,
И нас своими почитают птицы.
И чувствую, как Божие дыханье,
Молочный снег —
пылающим лицом!*

Наиболее светлым образом природы в стихах Олега Чертова является образ дерева. Если в традиционном контексте христианской (и языческой) культуры дерево ассоциируется с жизнью, вечным ростом, обновлением, цветением и принесением плодов, то у Олега, поэта голгофского склада, на первый план выступает древо Креста, символ жертвы и искупления, которое расцветёт только потом, в постапокалиптическую эпоху. Жертвенность, кротость, мудрость древа подчёркиваются в раннем стихотворном триптихе «Язык деревьев»:

*Я разучился понимать язык деревьев,
Ствола гудение, свистящий шёпот
хвои.
Я сжался весь от жалости и боли.
Душа, как ель зимой, заиндевила.*

*И немота, как ледяная корка,
И на уста легла печать немая.
Всё понимая, но не принимая,
Седею я от бесполезной скорби.*

*Но за лекарство горькое — спасибо.
Впиваюсь жадно в терпкий запах дыма.
Пути Господни — неисповедимы.
О чём молчание Твое, Спаситель?*

В другом стихотворении Олег пишет о взращённом им древе, которое, хотя и оказывается срубленным, приносит плоды:

*И было семя — мне в удел.
Взлетая, падая порою,
Кормя его своею кровью,
Растил я Древо, как умел.*

*Вот зашумел зелёный свод,
И бьётся мысль на нитке нерва:
Не то, что Каин срубил Древо,
А то, что Авель вкусит плод!*

В этом контексте древо, вскормленное кровью поэта, — это его судьба, его духовное и творческое наследие, за которое он заплатил своей жизнью и которое окормляет новые поколения поэтов и мыслителей.

Берёза, главное дерево русской поэзии, в лирике Олега Чертова предстаёт как символ Богородицы, снисходящей к заблудшей России:

*Когда мы веру до конца утратим,
Среди мирских соблазнов и сетей,
Последней нас оставит Богородица —
Своих безумных немощных детей.*

*Тогда зловеще заскрипят ворота,
Войдёт беда в незащищённый дом,
Но Богородица явится сиротам
Берёзою пречистой за окном.*

*Как дети, после тягостной разлуки,
Бежав из дома собственного зла,
Переплетём с ветвями наши руки,
Припав губами к молоку ствола.*

Здесь речь идёт не о пантеизме, вопреки утверждению одного современного критика. Это эсхатологический символизм, вера в пронизанность природы и человеческого бытия божественными энергиями. Природа не тождественна Богу, как одеяние не тождественно человеку, но она передаёт нам высшие смыслы, которых многим из нас иначе, может быть, не постичь.

Таким образом, поэт, живший в конце XX века, осознанно выстраивал свой поэтический космос, выбирая из средневекового словаря природных символов только те, которые близки его мироощущению. И в наши дни созданный им мир привлекает внимание людей, ищущих в природе и быте божественных знаков, необходимых для созидания духовного очага.

ОЛЕТ

ЧЕРТОВ

Любимой жене

Лунным мальчиком по городу пройду,
Заплету по переулку санный след.
Заскрипят полозья саночек о снег —

В лад моих неторопливых лунных дум.
Слишком часто в прежней жизни был я слеп.
Лунным мальчиком пройду среди людей,
Не задену никого и не толкну,

Никого не соблазню, не обману.
В кулаке моём верёвка от саней,
Я за ними забирался на Луну!
Избавлением от тягот и забот —

От земного, от чужого отучу,
Переделаю тебя, как захочу,
Потому что я вернулся за тобой —
В лунных саночках тебя я прокачу.

Тени постелив,
Рощу подели:
Красные стволы,
Белые стволы.

Чистые цвета
Я к весне берёг —
Красного ль куста,
Белых ли берёз.

Агнец ли в крови,
Амиран в скале —

Красные стволы
Клонятся к земле.

Тайные слова
К Высшему Судье
Белизной ствола
Скажут о себе.

Символы любви,
Знаки ли тоски —
Вешние стволы,
Вечности ростки.

Не отрывая ангельского взора,
Душа гляделась в горные озёра,
Ещё не опустившись в мир земной.
А ныне я гляжу без удивленья
На победившее земное тленье,
И дети тленья властны надо мной.

Уставив в небо панцирь свой зеркальный,
Меня соткал паук зодиакальный,
Сплетая, словно нити, свет и тьму.
Но оттого болит душа живая,
Что, чем тусклее пряжа световая,
Тем больше зла я на себя приму.

Бреду во тьме. И дух распада дразнит,
Что скоро Божий луч во мне погаснет.
Но я привык молиться об одном:
У озера, куда душа глядела,
На берегу, как плащ, оставив тело,
Нагим и светлым возвратиться в Дом.

А мы ещё не плачем над травой,
Не молимся последнему закату,

Хотя давно механик бородатый
Подвесил к гильотине нож кривой.

А мы ещё не торим звёздный путь,
Всё мечемся на грани тьмы и света,
Хотя давно стрелок из арбалета
Тупой стрелой нацелился нам в грудь.

Стекает время, как из рук вода,
И выпит мёд, и горький хлеб доеден.
А мы всё сомневаемся и бредим
И копим Божий гнев на День Суда.

Вот слёзы на коре ствола,
То осень подошла.
Как близко осень подошла
И под кустом легла.

Под можжевельным кустом
И рыжим бьёт хвостом.
А хвост, летая вверх и вниз,
Бьёт по холсту, как кисть.

И вот уж по краям холста —
Осенние цвета.
Цвета неярки и нежны
И — в гамме желтизны.

И в той же гамме — белый стих
И шелест трав сухих.
Те травы не несут росы
В рассветные часы.

И три астральные часа
Процарствует лиса,
Пока не вырвется из тьмы
Трёхглавый пёс зимы.



ТАРТУ

Интервью с Людмилой Александровной Казарян

Тарту. Русская поэзия — свет в окошке

Литературные фестивали — это особое пространство соприкосновения множества талантов, встреч и общения старых друзей и незнакомых ранее. Вдохновляет огромное разнообразие литфестивалей в России, на любой вкус: официальных и независимых, локальных и общероссийских. В Тольятти, например, ежегодно проводится Фестиваль поэзии Поволжья, в Саратове — «Центр Весны». Широко известны столичные фестивали: «Русские рифмы», «Филатов Фест», «Мцыри», международный фестиваль «Петербургские мосты».

В апреле 2019 мне посчастливилось побывать в Саратове, на фестивале «Центр Весны». На этом международном событии мы по-

знакомились с Людмилой Александровной Казарян — оказались соседками по комнате в хостеле.

Людмила Казарян не просто интересный и самобытный автор, проживающий в Эстонии, она — организатор уникального Тартуского международного поэтического фестиваля им. В. А. Жуковского. Большой радостью и неожиданностью для меня было её приглашение на четвёртый фестиваль, который должен был проходить в конце августа 2020 года. Но треклятый covid-19 и карантинные меры спутали все карты, ни о какой поездке за границу и речи не шло. И тем не менее фестиваль состоялся и прошёл успешно, о чём организатор рассказала нашему изданию.

**интервьюер
Марина Герасимова**

— Людмила Александровна, как зародилась идея проведения фестиваля им. Василия Жуковского в Тарту?

— Поделитесь опытом, что необходимо для успешного проведения фестиваля?

— В 2010 году в Тарту на фестиваль «Прима Виста» (ориентированный больше на прозу, причём именитых гостей приглашают из множества стран мира) приехал Дмитрий Быков, и местные поэты с ним познакомились, вступили в общение. До него приезжали, например, Александр Кушнер и Владимир Рецептер, но те вели себя, как небожители... а Дмитрий Львович порвал этот шаблон — и возникла мысль: чтоб нам всегда так жить. Захотелось ближе узнать, что происходит в литературной жизни России и других стран. Фестиваль сразу замыслился как поэтический и просветительский.

— Наш успех во многом обеспечен славой города Тарту как университетского города, участием университетских учёных, а также поддержкой Тартуской городской управы и Тартуской экспертной группы фонда «Капитал культуры». Удачным оказался и принцип «наведения мостов» не только между Эстонией и другими странами, но и между различными поэтическими течениями. Авторы — участники фестиваля говорят, что у нас они встречаются с теми, с кем не имеют возможности совпасть в одном мероприятии в России. Все, кто побывал у нас на фестивале, с радостью приезжают снова и снова.

— По какому принципу проводился отбор участников фестиваля? С какими трудностями пришлось столкнуться?

— Но ведь, несмотря на все трудности, положительные эмоции, наверное, перевешивают, раз фестиваль стал традиционным и проводится из года в год? Есть ли у местного населения интерес к современной русскоязычной литературе?

— Первоначально принцип был сформулирован так: «автор опубликован на бумаге и / или в Интернете и известен в нашей стране и / или за рубежом». Если имя автора было мне неизвестно, я искала его публикации, внимательно их изучала, при сомнениях привлекала других экспертов. Трудности экспертизы связаны с тем, что поэтическое сообщество живёт не по единым эстетическим канонам — и практически каждый раз вставал вопрос: как сравнивать несравнимое? Но как-то получалось. В 2015 году Игорь Караулов сказал, что мы близки к «золотой середине» между традиционалистами и актуальными авторами.

— Если говорить о носителях русского языка, то их интерес к современной русской поэзии с каждым нашим фестивалем растёт, а прозу на русском языке горожане читают постоянно. У нас были и вечера прозаиков, поскольку проза — частный случай поэзии. В 2018 году на Тартуском международном поэтическом фестивале им. В. А. Жуковского с успехом выступил, например, Леонид Юзефович, которого я много лет мечтала к нам пригласить. Носители эстонского языка читают русскую литературу в переводах. Интерес к ней есть, я беседовала с завсегдатаями литературного кафе — одна из них, не удовлетворившись переводом, специально

— В этом году всем пришлось пережить непростые времена. И тем не менее фестиваль состоялся, частично в онлайн-формате. Расскажите о специфике фестиваля в этом году. Будут ли практиковаться литературные зум-конференции впредь?

— А фиксируются ли результаты фестиваля в виде печатного издания или в Интернете?

нашла и прочла оригинал романа Д. Быкова «Списанные».

— Предметом нашей гордости (и опасений) в 2020 году стало проведение «живого» фестиваля при участии авторов из тех стран, сообщение с которыми не требовало двухнедельного карантина: самой Эстонии, Латвии и Финляндии. Я смеялась, что нам надо бы назваться Балтийским полукольцом. Мы рискнули — и победили. Никто не заразился, сообщение с Латвией прервалось в последний день фестиваля — мы успели вскочить на подножку уходящего поезда. Было и два зум-вечера с замечательными участниками, которые не смогли к нам приехать. Но дело в том, что живое общение — это один из столпов фестивалей нашего типа. На встречах, на чтениях, на экскурсиях рождаются новые мысли, новые проекты именно благодаря неформальному общению участников. Мы оставим зум-вечера для тех, кто живёт слишком далеко — и поэтому не может приехать, но фестиваль с участием публики и чтениями вживую — наше всё.

— Записи наших чтений, сделанные поэтом и прозаиком Михаилом Квадратовым и другими, можно найти на YouTube, известный художник и издатель из Чебоксар Игорь Улангин (издательство Free Poetry) приступил к изданию

— Какова специфика литературной жизни в Тарту?

сборников участников фестиваля (вышла книга петербургского автора Марины Гусевой, в работе коллективный сборник).

— Среди эстонских городов Тарту — самый эстонский. Здесь много литераторов, бурная культурная и литературная жизнь, но всё это — на эстонском языке. Чтобы стать частью этой жизни, надо понимать по-эстонски. Если нужен полный зал студентов — идти надо на слэм вместе с эстонскими авторами (на Тартуском слэме я однажды каким-то чудом дошла до финала). Жизнь русскоязычного автора в Тарту печальна и одинока, фестивали с участием авторов, пишущих по-русски, — свет в окне.

— Как Вы оцениваете значение фестиваля для России и для местной литтусовки?

— Этого вопроса я уже коснулась в нашей беседе. Для нас, живущих в Эстонии, такие фестивали — свет в окошке. Для авторов из России — возможность побывать в необычном пространстве, где порой чуждые друг другу поэтические сообщества находят точки соприкосновения, общий язык, просто узнают о существовании друг друга...

— Назовите авторов, гостей фестиваля, ставших приятным открытием лично для Вас?

— Организатор фестиваля обычно заморожен множеством проблем, включая чисто бытовые, — и от счастья человеческого общения получает крохи.

Но в 2020 году мне посчастливилось пообщаться, например, с Татьяной Перцевой из Финляндии, у которой недавно в издательстве «Русский Гулливер» вышла книга «Йойк». Татьяна приезжала к нам и раньше — но вот звёзды сошлись — и оказалось, что у нас много общих интересов, в том числе к экологии. А йойк — это у саамов и песня, и заклинание. Очень интересно выступил Семён Ханин, один из участников рижской текст-группы «Орбита». Были замечательные выступления с чтениями стихов недавно умершего таллиннского поэта Владислава Пенькова, бесподобные музыкальные выступления Мерле Яагер и белорусского ансамбля с народными песнями, Лены Сабининой — с авторской песней. С Миленой Макаровой (Рига) поговорили о её редакторе Людмиле Азаровой, чьи стихи для меня тоже значимы. Вечер таллиннского поэта Андрея Танцырева был интересен, лекция о Жуковском... Одним словом, это был типичный тартуский фестиваль — просто участников было меньше, чем обычно, — и те, кто сумел приехать, оказались ближе друг к другу, да простят меня те, кто не упомянут поимённо, — все были на высоте.

НЕУДОБНЫЙ ТЕАТР

Интервью с режиссёром «Театра на обочине» Мариной Ливинской

Независимый, репертуарный, литературный, современный, актуальный, актёроориентированный, свободный, эгоистичный, ризомный, театр предчувствия... Всё это — о пензенском «Театре на обочине», режиссёр которого Марина Ливинская поделилась своими размышлениями о современном театре и планами «обочинцев» в нашей беседе.

**интервьюер
Вера Дорошина**

— Вы называете свой театр независимым. От чего именно он не зависит и от чего всё-таки зависит?

— Наш театр частный, а потому независимый в первую очередь из-за его финансового положения: мы не находимся ни на каком бюджетировании. Государственные театры, имея бюджет, имеют ещё и обязательства, начиная от репертуарного плана, соотношения иностранных авторов к русским, классики к современности и заканчивая количеством спектаклей, которые должны быть сыграны. Мы не зависим ни от каких дотаций, не считая

— Подстраиваетесь ли вы под запросы зрителя, наступая на горло собственной песне?

грантов общероссийского Союза театральных деятелей. Однако это уже наш выбор — подать заявку на соискание гранта для постановки того или иного спектакля. Примерно раз в два года мы выигрываем гранты. Так у нас появились грантовые спектакли — «Наш класс» по пьесе Тадеуша Слободзянека и «Всадники А.» по комедии Аристофана. В бюджетных театрах есть ряд тем, которые не могут озвучиваться. Поэтому, например, в России только у нас спектакль «Наш класс» идёт без купюр, а в Театре Вахтангова он сильно сокращён. Но ведь сам автор категорически против любых сокращений. Если же говорить, от чего мы зависим, конечно же, от сборов, от зрителей. 14 из 16 наших спектаклей сделаны на их деньги.

— У нас умный, открытый и широко мыслящий зритель. И он очень разный в плане вкусовых предпочтений. Поэтому у нас такие разные постановки. Нашему зрителю нужны не только легковесные комедии, но и тонкие, и эстетские вещи. Однако определённые рамки зритель всё-таки задаёт, в частности этнические. Вот я хотела бы сделать постановки по сказкам или по роману «Раб» Исаака Башевиса-Зингера, по произведениям великолепного таджикского автора Тимура Зульфикарова. Но такие спектакли у нас вряд ли будут продаваться

в силу того, что мы находимся в средней полосе России. Или итальянский драматург Гаспаре Дори предлагает мне «Урию» — шикарную монопьесу про афганскую женщину, которая борется с насилием. Но мы её не берём, хотя тема касается всех женщин в той или иной степени, но как раз тема восточная, афганская слишком далека от Пензы. Национальные проблемы не так ярко звучат в нашем городе. Это не означает, что этнический материал совсем не звучит у нас. География наших постановок очень широкая. Действие пьес происходит в Германии, Штатах, Польше, Италии, Швеции. Но на первом плане у нас везде общечеловеческие темы.

Ещё я мечтаю накопать этническую мордовскую историю. В краеведческом музее мне когда-то советовали найти роман о том, как мордовский парень выкрал русскую девушку и на ней женился. Но я её так и не нашла, и мои мечты о мордовской Покахонтос не реализованы. Возможно, кто-то подскажет, что это за произведение, или напишет новый сюжет из периода заселения края русскими.

— В Интернете встретилось ваше давнее высказывание: «Мы работаем с современной российской и зарубежной драматургией и классикой,

— Если пьеса хорошая, нам плевать, где она ставилась. И «Наш класс» ставился, и многие пьесы, которые мы читаем в сценических импровизациях, имеют успешную сценическую судьбу. Но в целом мы не любим замызганные

не дошедшей до российской сцены». То есть пьесам, уже ставившимся, путь на вашу сцену закрыт? Постановка «Чайки» или «Гамлета» — своего рода состязание, так нет ли желания дать свою интерпретацию, «прыгнуть выше»?

— Русскоязычных авторов у вас мало.

тексты. Про «Чайку». Мы тоже собираемся её ставить, но это вопрос вызревания. Так много уже сказано, что если в этой череде ты имеешь что-то новое сказать после Эфроса, то ты скажи. А если ничего нового — то молчи. Мы много работаем с классикой: Брант, Аристофан, Стейнбек... Другое дело, что нам нравятся новые тексты, и ничто не сравнится с наслаждением звучания нового текста на сцене. И в этом плане мы стремимся делать свою репертуарную политику актуальной, любим свежее.

— У нас всего два детских спектакля на российском материале: «Королева» Алексея Егорова и «Тайна ледяной звезды» по пьесе Ирины Токмаковой. Да, есть перекосяк в сторону европейской драматургии, и в наших планах это исправить. Может быть, Платонов у нас случится. Мы давно вокруг него ходим, и уже была читка его пьесы «Ноев ковчег». Он нам очень интересен и близок по эстетике. Про Чехова мы тоже думаем, про Лермонтова. Постоянно знакомимся с современными российскими пьесами.

Но вообще, да, с русской драматургией не складывается у меня лично. Может, я не в той России живу, а в выдуманной мной? Но какая-то эта вот извальявшаяся в грязи страна — я в ней никогда не жила. Может, у меня розовые очки, которые я ни-

как не хочу снять. Но современная российская драматургия усиленно педалирует болевые истории нашего общества, не предлагая выхода. А мне как режиссёру не интересны истории из серии «капитан очевидность». Ну, назвали вы проблемы места, где мы живём. А их и так все знают. Вы расскажите, что с этим делать! Но этого-то ответа обычно и не даётся. Все только обсасывают, как всё плохо. Я другой человек по структуре, я хочу знать, как сделать, чтобы было хорошо. Если я не знаю, я не буду об этом говорить, мне это скучно.

— Натурализм? Всё это описывается, описывается... бесконечные «Ругон-Макарры» Золя.

— Да, Эмиль Золя — это хороший пример. У нас сейчас много Золя в современной драматургии. Но Золя соответствовал своему времени, а из сегодняшнего дня читать Золя можно только как исторический роман. Тот же самый «Жерминаль» уже не звучит так, как в свою эпоху. Я не вижу в современной российской драматургии вневременных историй, которые могут прозвучать и будут звучать долго. А наши спектакли живут долго, у нас за 10 лет списан только один спектакль. Вообще, существование частного репертуарного театра в провинции, в городе на 500 тысяч человек — это прецедент. Это успешная история. И она связана с тем, что мы очень придирчиво выбираем материал.

— При выборе материала какие предпочтения в плане художественных направлений?

— Вы же ставите не только по драматургическим произведениям?

— Мы работаем с текстами совершенно разножанровыми, разностилевыми, однако у них есть общее качество — все они хорошо написаны в смысле чисто литературной, вербальной формы. Бывает, читаешь пьесу, тема — класс, сюжет захватывающий, персонажи прописаны, но... слова не очень хороши в стилистическом отношении. У нас, наверно, литературный театр. Мы любим, чтобы слова хорошо сочетались между собой, органично произносились, давая нам хорошую основу. То, что мы играем, — это литература высшей пробы, в первую очередь. Её и читать, и работать с ней — наслаждение.

— Да. Например, «Итальянские сны» — по мотивам рассказов и цикла переводных стихов пензенского автора Фёдора Самарина. «Корабль дураков» — по сатирической поэме Себастьяна Бранта. «Весна нашей жизни» — по двум романам Стейнбека. «Хозяин семимильной горы» — сказка на полторы страницы, выросшая в полноценный спектакль. В таких случаях мы работаем как драматурги. Но у нас нет драматурга, который садится и пишет сценарий. Мы совместно с актёрами создаём этюдную базу, «разминаем» материал, и из этого уже рождается драматургия. Где-то добавляем свои реплики. Не везде. Например, глупо пытаться написать лучше, чем Стейнбек, или как-то пере-

— Темы, проблемы, идеи, актуальные для вас, идущие из спектакля в спектакль?

иначивать его текст. Поэтому в «Весне нашей жизни» было важно сохранить авторские реплики персонажей и интонации. А вот в «Корабле дураков» мы работали через ассоциации. Чтобы прозвучал не столько текст Бранта, сколько его мысль. Думаю, здесь это оправдано, потому что это такое сатирическое моралите, в котором главное не как, а что там написано. Полагаю, Брант оценил бы наш «Корабль» и сказал: да, мысль такова. В целом же мы очень трепетно относимся к тексту, стремимся не уходить от него.

— Об этом надо зрителя, критика спросить. Скажу изнутри: мы — театр предчувствия. Все мы иногда чувствуем: что-то идёт на нас или оно уже здесь. И мы не можем от этого отвернуться, если мы честны. Иногда мы делаем спектакли — я сама не могу понять, зачем, — вроде это далеко от нас, не актуально, например, тот же «Корабль дураков». И вдруг обнаруживаем, что вот мы поставили об этом спектакль — и оно уже здесь, происходит с нами, с социумом. Я это называю эффектом опережающего отражения. Есть в биологии такой закон, когда биологический вид начинает изменяться, как бы предчувствуя, какой навык ему понадобится в будущем. Как-будто душа предвосхищает какую-то историю, а сознание не определило этому точной формы — и на это прилетает какой-то

материал. Это важное качество нашего театра, которое не хотелось бы потерять. И здесь, возвращаясь к разговору про конъюнктуру, если мы пойдём за зрителем — мы потеряем это качество. Это же мы предлагаем зрителю посмотреться в зеркало нашего чувствования сегодняшнего времени.

— Вас можно назвать современным театром?

— Мы однозначно современный театр. Нам не интересны не актуализованные истории, которые не могут остро прозвучать здесь и сейчас. К счастью, мы избавлены от необходимости ставить пьесы к юбилеям и праздникам. Мы не обязаны брать, например, произведения Набокова в его 120-летие, если они в данный момент в нас не отзываются. Вот если Пушкин прилетел к нам сейчас, резонирует с нашим мировосприятием, и все артисты загорелись — мы будем ставить Пушкина, но не потому, что у него юбилей. И в этом смысле мы эгоистичный театр, мы ценим внутреннюю жизнь больше, чем внешнюю.

— Современный театр должен быть провокационным? Должен шокировать зрителя? И есть ли пределы, за которые выходить не стоит?

— Мне не нравится сама постановка вопроса о провокационности или желании шокировать, когда эти понятия сами на себе замкнуты. Скажем, выйти без трусов или раздеться на сцене — такое шокирование зрителя как самоцель меня вообще не интересует. Но мы очень свободный театр в вопросе художественных средств. Если артисту надо раздеться на сцене, например, в любовном эпизоде, нас это не смущает, мы спо-

койно относимся к наличию у нас тела. Однако я не люблю пошлости, вульгарности в контексте сексуальных историй и перверсий. Мне не нравится это как человеку, поэтому я в такие вещи не стремлюсь ходить и устраивать провокационные игры в этой зоне. Но у меня нет ограничений. Если мне нужно будет это использовать для достижения своих результатов, то я это сделаю. То есть провокативность и шок возможны как приёмы для того, чтобы выразить то, что я хочу.

Тут важнее сказать, что театр должен быть неудобен, в первую очередь — душевно. Театр должен коробить. Зритель не должен сидеть, как кот, объевшийся сметаны. Душа должна начать шевелиться, пусть даже через отвращение (и это хорошая реакция на театр, значит, он попадает на болевые точки). Холодный нос — это плохо, когда ничто тебя не трогает. Другое дело, что зритель бывает достаточно ленив, хочет, чтобы его погладили по уже известным ему темам, посмешили. Конечно, и расслабиться тоже надо иногда уметь. Но всё-таки театр должен вытаскивать человека из его скорлупы, футляра. Побуждать задавать себе вопросы, нравится ли тебе твоя жизнь, счастлив ли ты, что ты можешь изменить, ну и обычный список русских вопросов: что делать, кто виноват и т. д. Если речь о такой душевной

— Художник несёт ответственность за то, что создал? Или он просто транслирующее устройство?

провокации — она обязательно должна быть. Театр должен будить, провоцировать на шевеление души, давать манки к этому.

— Это двоякий вопрос. Художник несёт ответственность за то, рупором чего он является. А он является транслятором образов, чувств и мыслей, некоего потока. И он обязан понимать, какой месседж он несёт, и брать за него ответственность. Однако несёт ли режиссёр ответственность за то, что кто-то после спектакля пошёл и повесился, за нестабильную психику зрителя? Я не думаю.

Разговор об ответственности искусства я бы начала с древнегреческого театра. Он вырос из ритуальных действий. Вспомним элевсинские мистерии как предтеатральное действо с их танцами, песнями, жертвоприношениями. Их смысл — создать некий образ мира, отражение, в котором можно что-то изменить — и так воздействовать на реальность. Это была мистическая, сакральная составляющая. Грубо говоря, театр произошёл из колдовских действий. И древнегреческий театр ещё сохранял эту миссию. Он был очень жестоким театром. Истории Эдипа, Медеи — всё это кровавые трагедии, и неизвестно, как бы их выдерживал современный зритель. Но дело в том, что в жизни греков таких трагедий и смертоубийств было не меньше. И театр пытался отразить

такую реальность, чтобы на неё как-то воздействовать, улучшить её.

Но вернёмся к современной российской драматургии. В ней жизнеописание часто предстаёт как самоцель, но это не изменяет никак нашу реальность. Да, иногда это очень важно — описать реальность, например, когда берётся тема, про которую никто не говорит. Мне была бы интересна тема насилия в семье, положения женщины в современном российском обществе, но я не вижу хорошего материала по этим проблемам.

На самом деле есть художники, которые не понимают, что они делают, и при этом создают невероятные произведения, изменяющие сознание людей. Хорошо бы, чтобы художник понимал, что он изменяет сознание и за это ответственен. Но я бы сильно не давила на художника в этом смысле. Ведь траектории этого изменения сознания неоднозначны. Искусство не даёт прямолинейного пути для личности из точки А в точку В. В советское время уж слишком много на искусство повесили педагогических задач, хотя это и логично, когда искусство обслуживает общественную систему, дающую ему кормиться. Но как раз такое искусство и не изменяет сознание, а пытается его удержать в рамках заданной системы координат. И если говорить про ответственность, художник должен осознавать, что, обслуживая определённую

идеологию, он за это отвечает. И есть художники, которые это отчётливо понимают, что не обязательно делает их бездарями. Вспомним то же семейство Михалковых. Так несёт ли ответственность художник? И да, и нет. Да — потому что он должен понимать, что он делает и как он меняет реальность. Нет — потому что не факт, что он её изменит. Не надо слишком много на себя брать. Художник — не Господь Бог.

— Кроме репертуарных постановок, вы часто практикуете альтернативные формы: сценические импровизации, читки, перфомансы. Для чего?

— Да, мы очень любим околотеатральные формы. Сайт-специфик театр (когда театр выходит из театральных помещений) — сегодня очень модный тренд. «Театр на обочине» уже 10 лет назад играл и в торговых центрах, и на улице. Уже тогда мы понимали, что театр в коробке — вчерашний день. А сейчас вот на волне коронавируса мы это ещё больше понимаем. Театр должен выходить к народу.

Читки и сценические импровизации позволяют нам проверить материал, как он будет жить с нами и с нашим зрителем. Мы никогда не читаем произведения, которые не хотели бы поставить. Так мы пробуем, ищем себя в разных стилистиках, нишах. Мы — молодой театр, и нам не хотелось бы работать в каком-то одном узком направлении. И вот эти формы позволяют нам оставаться открытыми для развития и выбора путей.

В ходе перфомансов мы предлагаем некую тему, внутри которой у нас есть события и действия, которые будут про-

— Чему учит вас ваш зритель, на что открывает глаза?

изводиться тем или иным образом, воздействуя на публику. А публика взаимодействует с нами в заданных нами границах. Хеппенинг — ещё более спонтанная форма, когда задана только тема или часть темы, а всё остальное происходит совершенно стихийно, преобладает импровизационное начало. Перфомансы и хеппенинги — такой формат взаимоотношений со зрителем, когда возрастает степень его вовлечённости в процесс, когда он принимает суперактивное участие. Нам интересно, насколько мы можем взаимодействовать со зрителем, а он с нами, изменяя друг друга.

— Не нужно много на себя брать и пытаться контролировать умы людей — вот чему научил меня опыт перфомансов. Неправильно в коммуникации со зрителями занимать позицию сверху, учить жить. Взаимодействуя с публикой на равных, услышать её голос и вместе создать что-то ценное — вполне реально. Вот последний наш перфоманс со скульптором Юрием Ткаченко доказал, что такое общение — это уникальная возможность вытаскивать архетипическое коллективное бессознательное широким хватом, если доверять зрителям, давать им свободу, не давить на них. И мы продолжим ещё работу со скульпторами, художниками. Правда, за такую свободу иногда артисты могут и поплатиться,

— Со стороны зрителя сегодня спад или подъём интереса к театру, есть ли какая-то динамика в качестве и количестве зрителей?

— Кроме основного состава, ваш театр включает Школу театра на обочине. Какие качества вы стремитесь воспитывать в будущих актёрах?

как, например, основоположница жанра перформанса Марина Абрамович чуть ни была зарезана в ходе одной из своих акций. К сожалению, мы не всегда можем ограничить психическую энергию нездоровых людей.

— Однозначно перед коронавирусом был тренд, что зритель в театре прирастал. А сейчас, конечно, об этом речи нет. И невозможно предсказать, вернётся ли зритель в театр. Возраст наших зрителей не меняется, в основном это люди от 25 до 45 лет. Наш зритель — это мыслящий, чувствующий человек, обычно зрелый как личность. У нас очень умные зрители, на обсуждениях это видно. Иногда они дают такие фидбеки, которые разворачивают нас на 180°, открывая нам глаза, что есть или должно появиться в наших постановках. И мы очень прислушиваемся. Нам интересен наш зритель.

— Школа — это проект, не имеющий целью воспитание артистов для театра, кадров для себя. Мы даём навыки, актёрские техники, полезные в любой профессии. Но происходит и такое, что некоторые ученики вливаются в основной состав. В перспективе мы планируем открыть частный колледж для профильного образования. В Пензе не хватает театрального училища. Театральное образование Москвы резко сдвинулось в сторону частного сектора, и у нас это тоже неизбежно. В студен-

— Как много вы даёте свободы артистам? В качестве режиссёра вы диктатор или либерал?

тах Школы мы воспитываем в первую очередь свободу в принятии себя таким, какой ты есть, свободу от ложных стереотипов, свободу мышления. Эти качества не всегда удобны, но очень эффективны. Только внутренне и внешне свободный человек (без психологических и физических зажимов) может что-то создавать и вызревать во взрослого человека, не обрезанного, обрубленного и бескрылого.

— Я — полярный режиссёр. На стадии придумывания и создания — вся свобода принадлежит артистам. Как ты роль придумал — так ты её и сыграешь. На стадии финальной, когда уже я формую всё это облако невероятия, которое они придумали, я достаточно тираничный и деспотичный режиссёр. Что-то приходится сокращать, и актёры обычно это принимают, так как доверяют мне как формовщику. Конечно, бывают и стычки с артистами по поводу некоторых сцен. И в 50 % случаев актёры доказывают мне свою правоту или же мы находим консенсус, компромисс.

Вообще, я очень трепетно отношусь ко всем актёрским придумкам, решениям и находкам. В результате спектакль подобен гнезду, в которое каждый вплетает свои прутики и травинки. Поэтому у нас очень актёрский театр. Он ориентирован не столько на форму, сколько на способность артиста

внутри формы существовать и работать. Высший критерий — это когда в пустыне актёр сядет на тряпочку и тут же сыграет и Макбета, и Гамлета, и Медею. Сам на себе, без всего, без реквизита, только используя песок, ветер, тряпочку... а лучше голый, без всего. Вот это артист. Высший пилотаж. Всё остальное — павлинья перья, без которых, конечно, мы не существуем и которые используем.

— Продолжите этот ряд: литературный, актёрский... Какими ещё прилагательными вы бы охарактеризовали свой театр?

— У нас не бытовой театр. Любая чисто бытовая история на сцене меня убивает. Не могу смотреть, когда играют в халатах и тапках, я это ненавижу. Конечно, бытовой сюжет, обыгранный художественно, метафорически, имеет право на существование, но не бытовщина. Хотелось бы назвать нас ещё и музыкально ориентированным театром. Для меня очень важна музыкальная составляющая постановок. Музыка — это мой сорежиссёр, ассистент, действующее лицо всей ткани спектакля. Я ставлю спектакли минимум на 20 треках. Есть музыкальная партитура каждого спектакля, которая сама по себе несёт определённую драматургию.

— Вы реализуетесь в традиционно мужской профессии. Трудно ли женщине быть режиссёром? Накладывает ли гендер отпечаток на постановки?

— Да, режиссёры — преимущественно мужчины, хотя уже наметился тренд на изменение этой ситуации. Конечно, режиссёр — профессия сложная в том плане, что требует полной самоотдачи, больших душевных, моральных вложений. Если женщина

занимается ещё и семьёй, детьми, обычно просто физически не хватает её на такую работу. Но мне повезло — у меня сложилась эта история, хотя с бытом отношения так и не сложились, я продолжаю с ним бороться, поэтому у нас и не бытовой театр.

Вообще, я не считаю, что признаки женщины — это мягкость, текучесть. Скорее, надо говорить о ризомности женского мышления. Мужчине свойственны иерархическое, вертикальное мышление и такая же энергия. А женщины мыслят и действуют по аналогии с ризомой — грибницей. Этот термин — ризома — из постмодернизма, и я убеждена, что мы, женщины, — постмодернистки. Мы способны совмещать в себе, казалось бы, несовместимые, взаимоисключающие пласты и примирять их. Ризомное мышление включает в себя много-много разнонаправленных равноправных ветвей и не диктует жёстко, что добро, что зло, что хорошо, что плохо. У женщины может быть много разных «хорошо», как она может в равной мере любить разных своих детей. Эта особенность женского мышления неизбежно отражается и на женском творчестве. Как она отражается — это надо исследовать. Вот у меня 100-процентное ризомное мышление, а значит, у нас ризомный театр.

— **Ваша самая удачная постановка, на ваш взгляд? А самая популярная у зрителей?**

— Я больше всего на сегодняшний день люблю «Всадники А.» Аристофана. По мысли и по предложенной, актуализованной нами форме, данной очень древнему тексту, — это ультрасовременный спектакль. Я считаю, что это стопроцентное попадание, и ему ещё, «как драгоценным винам, наступит свой черёд», хотя пензенский зритель им пока не очень проникся. Для него то текст сложен, то тема не понятна. Но это моя любимая работа. Зрители же стабильно любят «Корабль дураков» на протяжении семи лет, «Весну нашей жизни» и «Наш класс». Конечно, некоторые боятся идти на последний, потому что «ой, я не хочу страдать». Но вообще, «Наш класс» очень драматичный и захватывающий. Детские спектакли пользуются постоянной любовью зрителей, хотя уже пора что-то новое ставить, сейчас в поисках темы...

IN
C
T
E
E
E



НИКОЛАЙ

ВАСИЛЬЕВ

В предпадуцей уверенности синева

беспилотную зону над так и погрём
и в народное сердце гастрольная птаха
презирает комета особым путём
и стучат каблуки теплоёмкого праха

оглянувшись на небо как на в голубом
этот зов под сурдинку высокой болезни
ты верни из завалов сирени любовь
ей дышалку вздымая конь белый и бледный

на лихие ключицы подвздошный станок
одиночества вёрстано красное платье
передвижная печь где наёмницу ночь
прямо к чёрной награде при звёздном параде

и немного срамно и довольно странно
что сильнее земли притязает и тянет
перегнем шпаклёванный свежесрубной
загорелого дерева плот в океане

ветер носит листвы нетленку
не проклюнувшийся вольфрам
перед смертью ещё недельку
перед летом сто девять грамм

и нежнее летейской мяты
сном нагретых волос косматых
этот пороховой ментол

из погибели прах изъятый
перед всем я ничто а кто

по цене твоего мизинца
краски неба идут на холст
натуральная оппозиция
и покуда не расмерклось

голым лесом о чью-то душу
солнце катит во тьму берёз
будто рыба пошла на сушу
сразу Господи вся наружу
как какой-то кровавый лось

из ночного неба окна и ямы
вещество черно и наружный блеск
в нём созвездий дети у смерти самой
разожгли две тыщи назад окрест

что отсюда сделать ещё осталось
Бога ради музыки на звонках
и поэзиявственность эко ярость
назвоночник звёздного молока

нагружается эк волной турбина
в никуда меня концентрат вонзён
и лавины сшедшей стоит равнина
как несчастно всё как несчастно всё

плывёт как ты как девочка на льдине
по неботелу грозному душа

и взорванное солнце пахнет дыней
и снова смеет осень обещать
животное застенькиного юта
хабаровский междуличный волчок

по домолесу теплого уюта
за лютый страх стыдобу честь влечёт
архангельский сомок из перламутра
из подреберья спусковой крючок

державящее яблоко погнито
окраинная речь космополита
вам русским языком заговорит
что тот Господь в ком пролита молитва
достоинства как зеркало с горы

берег дальний ты мой передальный
тёмным деревом тянет домой
изнутри опечаленной спальни
вскрытый видом на воды комод

в никуда из него выпадают
сокровенные потроха
и летят тяжелеющей далью
тугобратские облака

и встаёт вокруг ложа округа
законный законный огонь
и судьба как немая подруга
откровенно жестит я с тобой

на плечо расцветметом сирени
воронёной наплечной лозой
тыльных гор подвигомым смиреньем
лицевую слагая ладонь

сезон отопленья объявлен и дан
и в топком нутре батарей
пощёлкивает скорлупой океан
стыда чем рассудка скорей

концов и начал виноград и изюм
выносит на агнец-дэй
больную младенческую бирюзу
подонков и уголь людей

и осень орёт всей листвой по двору
пока её не замели
напрасно горит суицид на вору
и в смутной котельной дали

вулканов нудит прихожанский напев
не действующих почти
что хлеб наш насущный подаждь нам гнев
и действовать научи

отцепившись от всех деревьев
словно космонавт не жилец
и краснея уже на земле
и темнея уже на земле
лист кружит уже за землёй
на ребре кружевной юлой

в непроглядной стране энтропе

дыры чёрные наших следов
по канатам своим ходя
не касаются первых снегов
приникая к их холодам
удаляясь к их холодам

чтобы белая сплошь зимы
из ничто воссияла нас
развернув этих рек умы
по над смертью собой самы
как юродивая глумясь

как безумица в телескопе

от постели к окну не имущим тропы
между рам светофором ясны
отношения съёмной твоей скорлупы
с чуждым суперпростором страны

луже неба ночного не принадлежит
палый блеск термоядерных крох
превышая здесь всё в раздвижные разы
не заметив рассудка стекло

но достаточны тьмы и воды берега
и дезориентации свод
чтобы траченной щепке свой путь прилагать
к родословной мутации звёзд

чтобы вещи срывала с проектных петель
возгоняя с висячего дна
по вселенной отсутствия лёгких путей
благодатного тяга огня

я должен призывая рисковать
ни с чем остаться на посылках ада
стирает неудачница москва
слезу предчувствия большого снеготала

насыпет в одну каску новый год
весь товарняк оборванный синкопой
копытцев обморочных ломких нот
из пианино гиблого окопа

я должен призывая рисковать
ни с чем остаться ада на посылках
и небо над промзоной разевать
не надоевшее скуластого пошиба

под тучами оранжево темно
и в будущего дойные руины
глядит ничто между тобой и мной
Господь единый

немыслимого будущего дни
шагнут как тетива на жизнь назад
и ты предстанешь зеркалу родни
как превышение координат

всё потихоньку сходит на убой
но маясь в этих выгнутых стенах
и оставаясь заживо собой
простая ярость трогает меня

допутинская ракушка шумит
подводный певчий ветер пронося
в котором Бог перекрывает мир
а мы услышим наши голоса

благодаря за основанья лиц
черты огня и темень языка
где слово дождь и шум дождя столкнулись
в реальной скорости грузовика

здесь под прессом небесным бодрящий песок
холодами хрустит на ветру
и лежит нашей грязи мужское лицо
в переплётё из правильных руд

и такой его роду наклюнулся враг
и такие греха перед ним
что вскипает в земле неестественный брак
этой чёрной и бежевой глин

регулярному парку двусмысленных вер
на зиму не соля свежих ран
вертикальная чаща естественна вверх
и её самострашия храм

где музыки фамилий бессмертной души
не пуховую землю куют
и у кассовой бездны дома хороши
на её санитарном краю

за откинутым небом лица твоего
облака над соитьем свободны
и не знают на дух позаради чего
день и ночь называются годы

словно пуля в стволе их незнание в
бездорожной бесшовной соятой
предпадучей уверенности синевы
что всё знала она согрядатай

из кухонной бойницы родного угла
как на щедрую плаху под небо
плохо ляжет сибирь и придётся украсть
эти необратимые недра

и поля в стопудового спирта росе
и таёжно-болотную лиру
как заблудших овец как твою изо всех
на тот свет повернувшую жилу

привыкает к смещённым одеждам шпаны
новая очевидность
и твердит у расстрельной картонной стены
новостройки невинность

дозиметр подкручен в твоей голове
стройобъект субъективя
но внезапная цифра струит дикий свет
словно ангел правдива

мы в итоге дерьмо или нет видит Бог
в снегопаде мгновенья
но не весь залетает в могилу ибо
выбор он а не время

наступить и простить словно жизнь москву
за ея монополю
чёрный жилистый тополь зажавший листву
не желтея нисколько ей

петербург маргинальный как смерть извинить
за его рыбью ярость
что действительности нереальный жених
присуждён и настало

прекратить как нева просветлённая вся
загранитной прохладцей
в колыбельных на атомных сердца весах
твоего колебаться

прохладной истории ходят ветра
одинадцатым этажом
на первом сквозь межреберье веранд
по-свойски щемящим ножом

внизу пожинает гандлевский грибы
вверху продувает огонь
лучащейся тягой сгноившей гробы
звезду гладкоствольных нагот

фактура груба словно сей голоствол
у древа прожитья души
веранды пирог не одно естество
с ножом что заходит чужим

я пропасть в которую рано шагать
гудеть поездам не алё
но весь на победную пальмову гать
осанник тревожный полёт

СОДЕРЖАНИЕ

04 ПОЛИФЛЁР

- 6 Виктория Сысоева, стихи
- 11 Антон Шумилин, стихи
- 19 Вера Дорошина, стихи
- 24 Алексей Игошин, проза
- 37 Илья Матвеев, стихи
- 42 Анна Крестьянинова, стихи
- 47 Владимир Лезин, стихи
- 54 Владимир Генералов, стихи
- 58 Юлия Арямова, проза

60 СОТЫ

- 62 Михаил Картышов, стихи
- 64 Евгений Шторм, стихи
- 65 Олег Миронов, стихи
- 67 Ольга Смирнова, стихи
- 68 Русланбек Джурабеков, стихи
- 70 Олег Беспальто, стихи

72 ПРОПОЛИС

- 74 Татьяна Кадникова, стихи
- 76 Анна Коржавина, стихи
- 77 Ольга Правдина, стихи
- 78 Елена Барина, стихи

72 ФОТОПРОЕКТ

- Александр Фролов
«На глубине фрагмента»

90 БОРТНИЧЕСТВО

- 92 Маргарита Ардашева, проза
- 102 Анастасия Спивак, стихи
- 110 Никита Дорофеев, стихи
- 115 Алина Гребешкова, проза
- 124 Алла Зиневич, стихи
- 130 Мария Суворова, стихи
- 134 Наталья Полякова, стихи
- 138 Женя Декина, проза
- 150 Стефания Данилова, проза

152 ЖАЛО

- 154 Андрей Тимофеев
«Роман Сенчин. Летопись о себе»
- 160 Андрей Козырев
«Образ природы в поэзии
Олега Чертова»

170 ИНТЕРВЬЮ

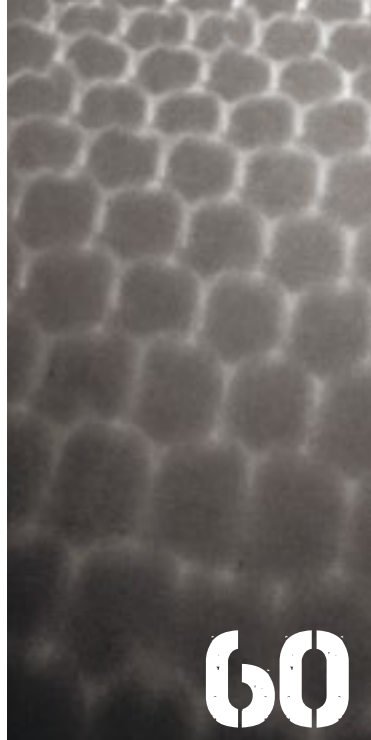
- 172 Тарту.
Интервью с Людмилой Казарян
- 178 Неудобный театр.
Интервью с режиссером «Театра
на обочине» Мариной Ливинской

196 ТЕНТОРИУМ

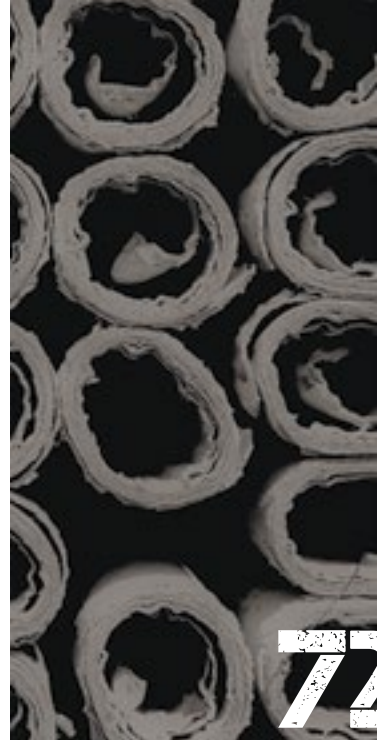
- 198 Николай Васильев.
В предпадуцей уверенности синевы



04



60



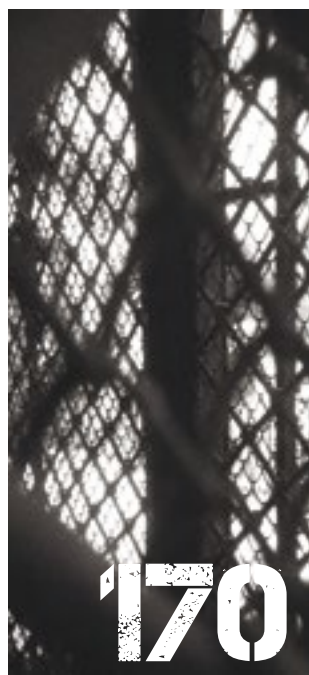
72



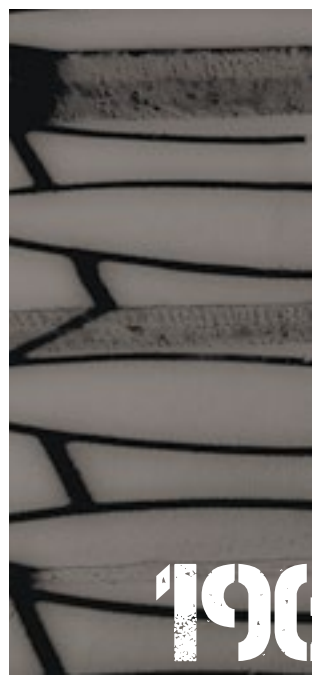
80



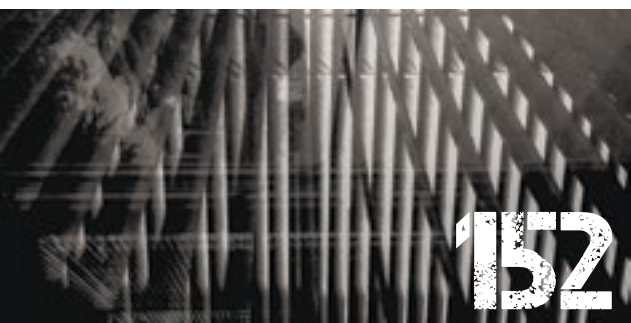
90



170



190



152

РОЙ

Независимый альманах современной литературы

Подписано в печать 04.10.2021. Формат 70x100/16.

Бумага писчая белая. Усл.-печ. л. 14,2

Тираж 200 экз.

ООО Научно-издательский центр «Социосфера»

440046, Россия, г. Пенза, ул. Мира, д. 35.

Тел. (8412)21-68-14

веб-сайт: <http://sociosphaera.com>

e-mail: sociosphere@yandex.ru

Типография ООО «Амирит»: 410004, г. Саратов,

ул. им. Н. Г. Чернышевского, д. 88У. Тел. (8452) 24-85-33

РОЙ в социальных сетях:

 almanahroj

 @club.rif

 @club.rif



ISBN 978-5-91990-149-5



9 785919 901495 >



Научно-издательский центр «Социосфера»